

ВАЛЕРИЙ
БРЮСОВ

Отчетный атлас



Валерий Брюсов

Обручение Даши

Повесть из жизни 60-х годов

I

Пятьдесят лет назад торговая часть Москвы, ее «город», еще сохраняла свой старинный характер, тот, вероятно, какой имела она и «до француза». Там, где теперь узкие переулки обставлены величественными зданиями «из стали и стекла», где непрерывными рядами, заполняя весь проезд, тянутся рессорные подводы, извозчики на резиновых шинах и автомобили, где сквозь зеркальные окна видны одетые по последней моде солидные служащие больших «торговых домов», – полвека назад, в низеньких, местами одноэтажных, домишках и в бессчетных проходных дворах ютились полутемные «лавки» и «амбары», у дверей которых останавливались жалкие московские «ваньки» и первобытные «полки», а в глубине которых дюжие «молодцы» или «ребята» в картузах и поддевках поджидали покупателей, как охотники зверя. По большей части купцы, торговавшие «в городе», делали в год оборот на сотни тысяч, но продолжали жить «по старине», довольствуясь сырыми и грязными помещениями, держа своих приказчиков в «черном теле» и охотно посещая привычные душные трактиры с любимыми хрипылыми «машинами». Допустить какое-нибудь новшество, хотя бы только переменить закопченную, потемневшую вывеску, хозяевам казалось делом опасным: как бы от того не произошла заминка в торговле и не сократились барыши.

Все же в те часы, когда торговля шла полным ходом, вся местность между Белой стеной и Москвой-рекой имела вид оживления величайшего. На Никольской, Ильинке, Варварке, в переулках, соединяющих эти улицы, на Старой площади, в рядах – движение, шум, говор не прекращались ни на минуту. Тянулись тяжело нагруженные возы; суетился и толкался всякий люд; рабочие тащили кули и ящики; возчики, ругаясь немилосердно, нагружали и разгружали полки; разносчики с лотками выкрикивали свои товары; хлопали двери менял; из лавок в трактиры шныряли мальчишки то с чайниками, то с судками; степенно проходили, все в черном, монашеники, собирающие «на обитель» и «на построение храма»; мелькали какие-то странные личности в поношенном пальто, пробирающиеся к знакомому «степенству» – посидеть в тепле, выпить стакан чаю и, при удаче, выклянчить «трешницу» или хоть «рубль-целковый». Сцены ежеминутно менялись, как фигуры в калейдоскопе. Брань ломовиков, звонкие крики торгующих вразнос, ропот тысячи голосов, грохот тяжелых колес по скверной мостовой, какой-то скрип, какой-то стук, треск, лязг, визг – все смешивалось в непрерывный гул, который, если бы его услышать издали, должен был напоминать жужжание огромного улья. А над всем этим миром, застывший и неизменный, стоял характерный, острый, неопределимый точнее запах, в котором словно воплощалась самая сущность местной жизни, – запах дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения.

Жизнь в «городе» начиналась рано. Еще до семи часов утра у растворов лавок собирались молодцы и артельщики в ожидании, когда придет хозяин – «отпираться». С его появлением скрипели ржавые замки, раскрывались обитые войлоком двери, снимались с окон деревянные ставни. Хозяин, наскоро перекрестясь перед закоптелой иконой, посылал

мальчишку за утренним чаем; более грамотные читали порой «Ведомости», другие, став за старинную, пузатую, всю залитую чернилами конторку, прямо начинали пересматривать вчерашние счета и распорядиться отправкой заказанного товара. «Настоящие» покупатели приходили именно по утрам; с ними приходилось вести длинные переговоры, показывать им образцы, долго торговаться о каждой копейке. Завершались сделки, конечно, в трактире, за неизбежным чаем. Если же идти в трактир с покупателем не предстояло, около полудня мальчишка снаряжался с судками за обедом: приносил щи и битки или, когда день был постный, уху с расстегайчиком и рыбу на конопляном масле. Обед съедался в комнатке при лавке, маленькой, полутемной, с запыленным и заклеенным бумагой окном. Молодцы полдничали где-нибудь в сторонке, под кипами товара, большею частью всухомятку. Впрочем, и среди хозяев были такие, которые на обеды из трактира смотрели, как на баловство: в лавке они закусывали тем, «что бог послал», в ожидании домашнего обеда – традиционных щей и каши.

После обеда наступало для обитателей «города» самое блаженное время – чаепития и полуотдыха, потому что в эти часы покупатель не ходил. То было время, когда появлялись в лавках всякие темные знакомцы: люди без определенных занятий, согласные играть роль шутов при их степенствах; дельцы, предлагающие выгодно учесть векселек или ловко стребовать деньги с неплатящего должника; случайные приятели из мелких актеров или литераторов, сообщающие политические новости и новости городские; наконец, разного рода просители. С этим народом не особенно церемонились: им говорили «ты», их оставляли часами сидеть в комнатке при лавке, пока хозяин не вернется из трактира или просто заблагорассудит заговорить с ними, при случае и прямо объявляли им: «Ну, ты что-то слишком часто стал шляться, приходи завтра, нонче мне недосуг». Но все же эти люди вносили разнообразие в одноцветную жизнь, в которой каждый новый день был похож на предыдущий, развлекали, забавляли, порой приносили нужные вести, и за это их поили чаем, иногда угощали водкой, а в исключительных случаях, когда хозяин был в особо благодушном настроении после выгодной сделки, ссужали и деньгами.

За полдненным отдыхом наступала пора вечерней работы. Опять заходили покупатели, опять отсчитывался товар и упаковывался для отсылки, приказчики бегали по соседству получить маленький должок, писались письма, фактуры, счета. Потом подходило время подсчета дневной выручки по торговле в розницу, подводились итоги дня, деньги из ящика конторки, заменявшей кассу, переходили в толстый бумажник хозяина. Медленно, но ощутимо за окнами утихал дневной гул. Вот бьет семь часов. Молодцы давно уже ждут «запорки», но «сам» все медлит; не то чтобы он надеялся поторговать еще, просто ему приятно показать свою власть; пусть подождут, ведь я же сижу. Наконец произносится давно желанное: «Ну, оно, пожалуй, и запирает пора». Молодцы поспешно надевают картузы или шапки, на окна наставляются ставни, в лавке сразу наступает темнота. Местная артель, оберегающая ночью амбары, запирает выходную дверь и накладывает на замок печать. Опять крестятся, прощаются, расходятся, чтобы вернуться завтра.

Скоро тишина наступает во всем «городе». «Ряды», улицы и переулки замирают, смолкают, погружаются в сон. На всех дверях и растворах висят большие старомодные замки; ставнями с сердечками задвинуты окна. Узкие тротуары опустели совсем: некому и незачем идти сюда. Кое-где видны будочники и сторожа; порой боязливо пробежит исхудалая собака; больше – нигде никого. И если извозчик, выбирая более короткий путь в Замоскворечье, случайно завезет сюда москвича, тому покажется, что он попал в сказочный город из «Спящей красавицы»: все кругом создано для жизни – дома, дворы, улицы, – и нигде нет людей, камень и железо царят безраздельно, луна смотрит в узкий просвет между крышами на городскую пустыню, и странно дребезжание пролетки в этом царстве безмолвия.

В привычном лязге и грохоте торгового дня, в привычной атмосфере, пропитанной характерным запахом «города», в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бечевой, веревками, канатом, вязкой, Кузьме мечталось легко и привольно. Он стоял за конторкой, тоже пузатой, как большинство таких конторок, высокой, неуклюжей, с ободранной клеенкой, и делал вид, что проверяет товарную книгу, но на самом деле сладостно перебирал в воспоминаниях подробности вчерашнего вечера и вчерашнего знакомства. У приятеля, Лаврентия Петровича Рыбникова, который теперь служит у соседнего менялы, вчера была вечеринка. Кроме «своих», из «города» и Замоскворечья, были студенты и ученые барышни: Лаврентий мечтал о самообразовании и водил знакомство с «интеллигенцией». На вечеринке Кузьма познакомился с двумя подругами, Фаиной Васильевной Кукулиной и Еленой Демидовной Оржанской, девушками лет по двадцати, и теперь старался вспомнить каждое сказанное ими слово, каждую черту их лица, особенно первой – Фаины.

«Девушки интеллигентные, – говорил себе Кузьма, охотно выговаривая мысленно это, еще новое тогда слово, – много читали, интересуются научными вопросами, мыслят самостоятельно. Недавно приехали из провинции, а так осведомлены обо всем. Нет, Россия явно пробуждается, общество стряхивает с себя спячку, наступает новая пора. Женщина тоже становится равноправным членом общества. Недаром раздавались голоса Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева».

Кузьма опять испытал чувство досады, когда еще раз припомнил, как он был неловок и ненаходчив в разговоре. Фаина спросила его, читал ли он «Отцы и дети» Тургенева. Ну, разумеется, читал и много думал о романе, но сразу не нашел, что сказать. Начал говорить так сбивчиво, что, наверное, Фаина подумала, не хвастает ли он, никогда Тургенева не читав. Даже имени Базарова Кузьма не сумел назвать, а сколько раз спорил о Базарове и базаровщине с тем же Лаврентием!

«Да и то сказать: откуда мне взять развязности? – думал Кузьма. – С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме „жития святых“ да старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе, понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все: „Ты, Кузьма, – дурак, твое дело – бечева, а не книги!“ Дяденька, Пров Терентьевич, хоть и пообразованнее будет, да тоже весь его разговор о Николае Павловиче или о монастырях; а если о политике заведет речь, так Французскую империю республикой назовет. Только и свет я увидел, что через Лаврентия, а особливо через Аркадия. От них кое-какие книжки получил, кое с какими людьми встретился, да издавна ли? – едва год. Раньше, бывало, с одною Дашей душу отводил. Где же было мне к свободному разговору приучиться?»

Напротив, с завистью вспоминал Кузьма статную фигуру Аркадия Липецкого, не то поэта, не то художника, не то актера, а впрочем, служившего пока в купеческом банке. Высокий, красивый, с нафабранными и завитыми усами, одетый по моде, Аркадий казался Кузьме образцом изящества. Как умел Аркадий занимать дам! Говорил комплименты и парадоксы, рассказывал чуть-чуть неприличные анекдоты, декламировал стихи своего сочинения, был находчив, остроумен и вместе с тем всегда немного грустен и загадочен. Аркадий намекал, что в его жизни была какая-то тайна: не то несчастная любовь, не то важное политическое дело, только он должен был отказаться от открывавшейся перед ним блестящей карьеры и замуровать себя в должности мелкого служащего в банке. «Да, это – натура талантливая, – в сотый раз повторял про себя Кузьма свое мнение об Аркадии, – и он, разумеется, не на своем месте: он из тех, которые могли бы первенствовать, вести других за собою, но в нашей России еще много сил обречено на то, чтобы пропадать даром, среда еще неблагоприятна для развития дарований, пора более свободной жизни едва начинается». Впрочем, думая так, Кузьма только повторял мысленно слова, сказанные ему однажды самим Аркадием.

Потом мысли Кузьмы перешли на приглашение Фаины. Прощаясь, она позвала его заходить к ним. «Вы мне симпатичны, – сказала она, – и я буду рада познакомиться с вами поближе. Приходите, например, в этот четверг: будут и ваши знакомые, Лаврентий Петрович, Аркадий Семенович, еще кое-кто. Мы справляем новоселье». Кузьма спросил, много ли будет народа, думая о том, что надеть, не сюртук ли (большой спор пришлось ему выдержать с отцом, чтобы добиться позволения заказать себе сюртук: «нам это не к лицу», – упрямо повторял отец). Фаина ответила, что будут «все свои». «Поговорим, поспорим, – добавила она, – может быть, станцуем, мы не против танцев». – «Да, станцуем, – думал по этому поводу Кузьма, – а ежели я танцевать не умею... Стыдно, беспрерывно надобно пойти к танцевальному учителю. Коли бываешь в обществе, нельзя не уметь танцевать». Он представил себе, как было бы приятно обнять стройную фигуру Фаины и закружиться с ней в каком-нибудь таком вальсе... Да, необходимо выучиться танцам, ну, хоть самым обыкновенным: кадрили, лансье, полька, вальс.

Мысли Кузьмы были прерваны окриком отца:

– Что ворон считаешь, Кузьма! За дело взялся, так, того, в дело и смотри. Эдак ты ложку мимо рта пронесешь.

Вздыхнув, Кузьма вернулся к товарной книге. «Четырехшнуровых по двадцати сажен столько-то, шестишнуровых по десяти сажен столько-то, двойных трехшафтовых столько-то пудов, каната просмоленного столько-то пудов, того же столько-то пудов, столько-то фунтов. Такого-то числа через транспортную контору получено четырехшнуровых» и т. д. и т. д.

Внутренняя стена лавки была завалена кипами с товаром. Когда-то, мальчиком, Кузьма любил, шая, лазить по этим тюкам, воображая их Кавказскими горами. Прямо перед конторкой, у боковой стены, стояли ящики и картонные коробки с вязкой и тонкой бечевой для розницы: счет этого товара приходилось производить еженедельно, чтобы молодцы не вздумали утаить лишний четвертак. У окна была старая скамья, вроде тех, что ставят в садах: на ней Кузьме, тоже в детстве, случалось валяться, когда отца не было в лавке. За окном – все тот же вид, на который Кузьма смотрит изо дня в день: лавка помещалась во дворе, видны были задние входы других магазинов, выходивших в переулок, и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Вот у противоположного окна стоит Флор Никитыч и барабанит пальцами по стеклу: надо полагать, нечего ему делать. Вот через двор бежит мальчишка в громадном картузе, налезавшем ему на уши и на глаза: это – тоже Кузьма, от медника. Как же говорили, что хозяин так оттащил его за вихры, что он слег? Стало быть, оправился. А вот идет мать Евфимия, и отец ее завидел, достает две копейки: так положено...

Заходили покупатели, так, мелкие, из бумажных магазинов, купить вязки на рубль, на несколько копеек. Кузьма записывал приход в «Общей» книге. Это он завел в деле подобие бухгалтерии, с которой познакомился по «самоучителю в шесть дней», и разносит все по книгам. Раньше только одна книга и была: «Дневник», да и та велась со всякими подчистками и помарками, при надобности и не приняли бы ее как документ. Отец объявил было, что все это одни глупости, немецкие фокусы, но Кузьма настоял на своем, и теперь отец сам доволен, что все сразу видно и можно усчитать... Следовало бы только хороший учебник достать: а то порой Кузьма все же не знает, как с разными книгами справиться...

В полдень обедали. Из трактира принесли щи суточные и телятину; запивали домашним квасом. Отец, недовольный тем, что Кузьма накануне вернулся домой поздно, степенно наставлял сына:

– Вот что я тебе скажу, Кузька. Ты, того, эти всякие штуки брось. Не наше это дело. Дед твой, покойный Терентий Кузьмич, царство ему небесное, грамоте не знал, а мне эво какое дело оставил. Книжками нам, оно, недосуг заниматься. Обучил я тебя грамоте, считать умеешь, и это хорошо: другой не обсчитает. Также, ежели какое прошение написать, сам сумеешь, а мы,

бывало, этим самым ходатаям сколько полтин передавали. Ну, а большего нам и не требуется. Книжные-то люди вон без штанов ходят, а у нас, слава богу, каждый день и щи и каша на столе, а здесь, гляди, телятиной балуемся. Мне от людей везде почет, потому что неоправданных векселей за нами никогда не бывало. Толковали, старостой меня церковным выберут. Помру я, дело тебе налаженное оставлю. Только смотри, было бы оно кому оставлять. А мудрить будешь, вот помяни мое слово, все на монастыри откажу, пропадай хоть с голоду. Не на то батюшка покойный и я горбом наживали, чтобы потом праздношатаям разным рассыпать.

Скучно было слушать давно знакомые слова, которые, с малыми изменениями, отец повторял чуть не ежедневно. Кузьма знал, что отец его крепко любит как единственного сына и, конечно, наследства не лишит, пожалуй, и все простит, что бы он, Кузьма, ни сделал. Втайне отец даже гордился тем, что у него сын – «ученый», читает умные книжки, водится с умными людьми и, главное, сам до всего дошел, так как вся учеба Кузьмы сводилась к урокам приходского дьячка. Но уж таково было положение, что говорить иначе отец не мог: должен был бранить книги и тех, кто их читает. Да и говорил отец без сердца, просто исполняя свой родительский долг, как он его понимал.

Выслушав проповедь, Кузьма, вспомнив свое решение учиться танцам, не без смущения попросил:

– Папенька, разрешите мне взять сегодня еще пятнадцать рублей.

Без разрешения отца Кузьма не смел воспользоваться ни копейкой.

– Это на что же? Баловаться, того, хочешь?

Под понятие баловства подходило все, начиная с покупки книг и кончая кутежом. Можно было бы солгать, сказать, что надо угостить товарищей, на что, поворчав, отец, вероятно, согласился бы. Но Кузьме лгать не хотелось.

– Я, папенька, хочу танцевать учиться. Случается, в обществе бываешь. Другие танцуют, так мне неловко, что не умею.

– Танцевать? Да ты что, рехнулся? Ты бы вот покойному деду сказал, он бы тебе показал танцы.

– Вы, папенька, напрасно так рассуждаете. В наше время более не гнушаются танцами. Это теперь относится к числу разумных развлечений. Многие очень образованные люди танцуют. Опять же, при дворе, сами знаете, бывают балы...

– Нет, ты это оставь. На танцы нет тебе моего разрешения. При дворе там как хотят, а нам это не к лицу. И мать то же скажет.

Отец решительно встал, запахнул полы и крякнул.

– Ну, я пойду, того, чайком побаловаться, с кумом пообещал об одном дельце покалякать. Почитай, дожидает уже. А ты посиди тут, не ровен час, кто и нужный зайдет. Тогда, оно, дошли Мишку. А дурь насчет танцев из головы выкинь.

Влас Терентьевич степенно вышел из лавки. Излюбленный трактир «Михалыча» помещался по соседству, так что хода до него было всего минуты три. Встречные почтительно кланялись купцу Русакову, зная, что у него уже «подкатывает к миллиончику».

Когда хозяина не было в лавке, пришел Аркадий Семенович: он всегда выбирал эти часы, чтобы заглянуть к Кузьме. Хотя уже наступил конец октября и дни стояли довольно холодные, Аркадий был в какой-то фантастической крылатке, в широкополой, скорее летней, шляпе. Но усы Аркадия были лихо закручены, и лаковые ботинки сверкали.

– Кузьма, здравствуй! «Твоего» нет?

– Папенька вышел. Садись, Аркадий.

– «Папенька»! Сколько раз я тебе говорил, что пора оставить эту купеческую манеру выражаться! Говори «отец» – гораздо благороднее и достойнее. Что ты, мальчишка, что ли?

– Привычка, Аркадий. С детства так приобьк. У нас все говорят «папенька». Не все ли равно?

– Нет, не все равно. Свое человеческое достоинство надо отстаивать во всем – и в большом, и в малом. Сегодня ты назовешь отца «папенькой», а завтра позволишь ему тебе подзатыльники надавать, потому что с детства к этому «приобьк». Ты с каждым должен говорить как с равным, будь это твой отец или хоть сам государь император.

Аркадий, сев, закурил папиросу.

– Понравилось вчера у Лаврентия?

– Очень было приятно. Сам знаешь, такое общество не часто приходится видеть. Кругом – одна необразованность. А там собрались люди, которые заняты высшими вопросами. Лестно было даже слушать. Какая образованная эта Фаина Васильевна! Она и Дарвина читала...

Аркадий засмеялся.

– Я уже видел, брат, что она в тебе загвоздку оставила. Только берегись, не обожгись на ней. Она сумеет закрутить прочно, так что после и не вырвешься.

– Да что ты, Аркадий! Разве же я... Я и думать себе ничего такого не позволю. Какая же я ей пара? И говорить с ней толком не умею, даже совестно. Я только об том, что приятно было с такой девушкой встретиться.

– Ладно, прикидывайся! Мошна твоего «папеньки» тоже чего-нибудь стоит, всякое образование заменит. Что, за этот год сотнягу тысяч к прежним в банк присокупите? Или Влас Терентьич, по старине, деньги в чулке и в печке хранит?

Кузьме стало обидно за насмешки над отцом, и он ответил сухо:

– Отцовские деньги – не мои. Я их не считаю. А у меня, ты сам видал, иной раз лишнего рубля нет.

Последние слова Кузьмы заставили Аркадия поморщиться. Стараясь сохранить беспечный тон, он произнес:

– А кстати, Кузьма, мне как раз нужно лишних рублей десять. Будь другом, выручи, брат. Одну десятку, и я тебе ее верну в субботу.

– Нету, Аркадий, право, нету. Сегодня просил – не дал.

– А в конторке? Ключи-то ведь у тебя.

– Да нешто я могу брать без спросу.

Аркадий посвистел на какой-то мотив, потом, меняя разговор, спросил:

– А что Дарья Ильинишна?

Дарья была двоюродная сестра Кузьмы, дочь родной сестры Власа Терентьевича, Марфы; мать Дарьи умерла вскоре после ее рождения; отец, скорняк, дела которого не пошли, спился с кругом и пропал где-то на Хитровом рынке; Дарья жила в доме Русаковых как сирота, больше на положении приемыша, чем племянницы. Между Дарьей и Аркадием с весны завязался роман, и Кузьма всячески покровительствовал их отношениям. Теперь он ожидал вопроса Аркадия, зная, что и зашел он прежде всего затем, чтобы узнать, когда возможно очередное свидание.

– Что Даша, – отвечал Кузьма, – известно, все то же. Маменька ее шить заставляет, по хозяйству приучает, женихов выискивает. Папенька под сердитую руку каждым куском попрекает. Невеселое ее житье...

Схватив слова «женихов выискивает», Аркадий тотчас начал поучение:

– Как не стыдно сознаваться, что кому-то приискивают женихов! Неужели не прошли те времена, когда женщины сидели у нас в теремах и родители подбирали девке мужа, не спрашивая ее согласия! Русская женщина завоевывает себе свободу, хочет, чтобы брак был свободным актом ее выбора, и пора бы этим элементарным идеям проникнуть и в вашу среду! Дарья Ильинишна должна твердо заявить свою волю, сказать, что она не допустит, чтобы ею торговали, как кипой вашей бечевы. Именно такие индивидуальные акты личной решимости и двигают общество по пути прогресса. Только в том случае, если каждый из нас в своей личной жизни будет отстаивать свое человеческое достоинство, Россия пойдет вперед к раскрепощению, к сознательной жизни масс, к истинной культурности.

Такие поучения, которые Аркадий очень любил произносить, если только находил почтительных слушателей, пересыпанные иностранными, не всегда понятными Кузьме словами, прежде производили на него впечатление подавляющее. Но с недавнего времени, при всем своем преклонении пред Аркадием, он стал относиться к некоторым его словам критически. Попытался он спорить и теперь:

– Тебе хорошо говорить. Ты свободен, у тебя есть образование. А что будет делать Даша, ежели отец да выгонит ее из дому? Куда она пойдет? Ее ничему не учили, ей останется с голода помирать или выйти на Кузнецкий мост.

Аркадий многозначительно возразил:

– Дарья Ильинишна не так одинока, как ты говоришь. Во-первых, я надеюсь, что ты сам никогда не откажешься протянуть ей руку помощи. Во-вторых, она может смело рассчитывать на меня. Познакомившись с нею ближе, я оценил ее личность. Когда она освободится от предрассудков своего круга, она будет достойным членом общества. Таким лицам надо помогать выбиться из подавляющей их среды...

После маленькой паузы Аркадий добавил:

– А когда я мог бы повидаться с Дарьей Ильинишной? Мне надо было бы с ней поговорить. Да, кстати, может быть, я дам ей полезный совет в ее положении.

Ответ у Кузьмы уже был готов.

– Что ж, Аркадий, я попытаюсь это устроить. Приходи завтра, как прошлый раз, туда, знаешь, к церкви Косьмы и Дамиана, так в половине девятого. Авось Даша на минутку урвется. Там и

поговорите.

– Хорошо, – медленно произнес Аркадий, – я приду, это – мой долг.

Заговорили о другом. За беседой не заметили, как вернулся Влас Терентьевич. В его присутствии Аркадий сразу потерял свою развязность, встал со скамейки, снял шляпу.

– Да, брат, – сказал Влас Терентьевич, – шапочку-то снять должно. Икона здесь. Тоже – не басурман, поди. Ну, здравствуй, здравствуй. Токмо у нас теперича дело есть. Может, когда другой раз зайдешь. Кузьме, оно, недосуг.

– Извините, Влас Терентьевич, я зашел на минуту. Мне тоже пора в банк. Я сам – человек работающий.

– Ну это, того, дело. Прощения просим.

– До свидания, Влас Терентьевич. Прощай, Кузьма.

Кузьма стоял, покраснев от смущения.

– До свидания, Аркадий! На днях зайду к тебе.

Когда Аркадий вышел, отец угрюмо посмотрел на Кузьму.

– Не нравится мне, того, этот твой стрекулист. Не дело, оно, в рабочие часы по чужим лавкам шмыгать. И опять же, служит на хорошем месте, а во что одет? Пальтишко ветром подбито. Чай, холодно сердешному.

– Папенька, Аркадий Семенович – человек высокообразованный. А на свой костюм он не обращает особого внимания. Он выше этого.

– Ладно. А усы-то, того, у него нафабрены, и духами, оно, на полверсты от него разит.

У Власа Терентьевича была привычка чуть не в каждую фразу вставлять словечки «того» и «оно», которые в разных случаях приобретали самый разнообразный смысл.

IV

Когда, после заправки, вернулись домой и сели ужинать, Кузьма тотчас заметил, что Даша чем-то расстроена. За столом она сидела бледная, не поднимая глаз. Мать с особой заботливостью угощала ее:

– Кушай, Дарьюшка, голодна будешь.

– Спасибо, тетенька, мне что-то не хочется.

Ели, по старинному обыкновению, из общей миски. Кашу запивали тем же квасом, что и в лавке, домашним, приготовление которого каждую неделю было целым событием в доме. После ужина в тот день отец не пожелал сыграть со своей «старухой» в дурачки, чем тешился ежедневно, объявив, что устал сегодня, и прямо пошел спать. «Оно, чем раньше ляжешь, тем сон покойнее», – объяснил он. Орина Ниловна отправилась на кухню – по каким-то хозяйственным надобностям, да, кстати, и посудачить с прислугой, конечно, единственной в доме, молодухой Аннушкой, своей всегдашней собеседницей. Кузьма и Даша остались одни.

У Кузьмы была своя комната, отдельная, где стоял его шкаф с книгами и письменный стол, которым он гордился, как патентом на «интеллигентность», и где на стене висели портреты Герцена и Гарибальди. Даше особой комнаты не дали, хотя и была свободная; пусть все же чувствует, что она – сирота, живет из милости. Спала Даша в проходной комнате, вроде передней, на двух составленных сундуках, впрочем, прикрытых необъятными перинами; в той же комнате хранились банки с вареньем и соленьями, заготавливаемыми летом. А из свободной комнаты сделали что-то вроде приемной, неизвестно для кого, так как гости у Русаковых бывали лишь дважды в году – на именины хозяев.

Даша прошла в комнату брата.

– Мне, Кузя, с тобой поговорить надоть.

– Случилось что?

Даша присела около брата и, понизив голос, заговорила:

– Сегодня сватать меня приезжали.

– Что ты? Кто?

– Да сама Анфиса Андреевна, сваха первейшая. С тетенькой целый час шептались. Потом, значит, тетенька меня позвала, счастье тебе, говорит, выходит.

– Да за кого же?

– А за Степана Флорыча Гужского, знаешь, вдовый, толстый такой, рыбой торгует в нижних рядах, еще на святой заутрене мы, господи прости, с тобой над ним надсмехались.

– Полно тебе, Даша? Да ведь ему за пятьдесят!

Даша, без всякого перехода от спокойного рассказа, начала плакать, всхлипывая.

– То-то оно и есть, Кузя! Да я-то что же могу? Тетенька говорит: у него капитал и дом на Швивой горке. Выдадут меня, вот как бог свят.

Кузьма вспомнил рассуждения Аркадия и заговорил сердито:

– Как же тебя могут выдать против твоей воли? Этого и по закону нельзя. Теперь не такие времена. Скажи прямо, что за старика не пойдешь. Он бить будет, пьет, это все знают.

Даша, плача, уткнулась лицом в старинное кресло, на котором сидела, и отвечала сквозь слезы:

– Легко тебе говорить... Тебя дяденька любит... А меня дармоедкой зовет... Им бы только с рук меня сбить... Меня и не спросят... Прикажут идти, и все тут...

– Даша, Даша! Подумай, что ты говоришь! Или ты все позабыла? Сколько раз мы с тобой обсуждали вопрос о браке! Ведь ты же соглашалась, что лучше в нищете жить, чем с нелюбимым человеком. А тут не то что нелюбимый, а старик, грубый, еле грамотный, пьяница, двое детей у него. Вот сегодня Аркадий...

При имени Аркадия Даша сразу перестала плакать, подняла свое залитое слезами лицо и сказала с неожиданной решимостью:

– Я, братик, из-за Аркадия и плачу. Я в него влюблена. Не могу идти за другого. Он – такой душка.

Кузьма почти рассердился на легкомыслие сестры и возразил строго:

– Не в том дело, душка Аркадий или нет. Ты объясни мне, есть ли у тебя к нему серьезное чувство. Ежели это просто девичья влюбленность, не об чем и хлопотать. Но ежели ты к нему действительно равнодушна, надобно это обсудить как следует. Прежде всего скажи, как к тебе относится Аркадий. Отвечает ли он на твое чувство?

Даша испуганно посмотрела на брата: его рассудительный тон смутил ее. Потом она опять начала плакать.

– Почем же я знаю, братик, – причитала она, всхлипывая, – он мне в любви объяснился. Только мужчины ведь обманщики. Что им стоит соблазнить девушку.

– Послушай, Даша, – совсем гневно возразил Кузьма, – ежели хочешь говорить серьезно, давай, а болтать пустяки не стоит. И об Аркадии нельзя выражаться так необдуманно. Аркадий – личность исключительная. Он образован, умен, у него самостоятельные убеждения и честный образ мыслей. Он – не из тех, которые соблазняют. Ежели он сказал тебе, что любит тебя, ты можешь ему довериться.

Опять понизив голос, Даша вдруг спросила:

– А кто он такой, ты доподлинно знаешь? Он про себя все что-то молчит. Иной раз, право слово, боязно делается: не беглый ли?

– Какие глупости, Даша! В прошлом Аркадия действительно есть какая-то тайна, но, разумеется, благородная. Я так думаю, что он участвовал в политической партии и теперь должен скрываться. Он себя называет Липецким, а я слышал, что его настоящая фамилия – Кургузый.

Даша весело расхохоталась, словно и не плакала минуту назад.

– Как? Кургузый? Повтори, как! Кургузый? Ох, помру со смеха! Дарья Ильинишна Кургузая! Да он вовсе не Кургузый, а жердью вытянулся. Только как же, ведь он на службе: в банке-то должны знать его настоящую фамилию!

– Я не люблю разузнавать об интимных подробностях жизни, – недовольно ответил Кузьма. – Ежели человек сам не говорит о своем прошлом, значит, у него на то свои причины. Надо уважать волю каждого. И не в том сейчас дело.

Кузьма встал и начал ходить по комнате. Темнело, но тратить свечи даром в доме не позволялось. Брат и сестра давно привыкли вести свои беседы в полумраке, чуть смягченном светом лампадки, которую Орина Ниловна неукоснительно каждый вечер затепливала перед образом в комнате сына. Вдруг Даша спросила:

– А что, он в бога верует?

Кузьма нервно пожал плечами.

– Даша! Когда же ты освободишься от предрассудков! Вера есть интимное дело каждого человека. Тебя никто не принуждает отказываться от религии, если она дает тебе утешение. Но пора понять, что мыслящий индивидуум не может верить в сказки попов. Ведь я же давал тебе прочитать. Наука знает законы природы и больше ничего. Ни в телескопы, ни в микроскопы не было усмотрено божества. А первобытный человек, пугаясь грома и молнии и других непонятных ему явлений, обожествлял их. Запомни это раз навсегда.

– Как же, Кузя, вовсе без бога-то? Кому же молиться?

Кузьма остановился перед Дашей, поглядел на нее с сожалением, помолчал и, наконец, вместо длинной речи, которая складывалась в его голове, сказал коротко:

– Мне некогда сегодня, в сотый раз, объяснять тебе то, что я уже объяснял девяносто девять раз. Молись, сколько хочешь, но не срами себя, спрашивая про других, верят ли они в бога. А затем вот что. Я твое поручение исполнил. Завтра Аркадий будет тебя ждать, где ты наказала. Папенька с маменькой завтра на именинах, так что тебе можно будет выбраться. Воспользуйся этим случаем и для того, чтобы понять хорошенько его советы. Ежели уже дошло до того, что тебя сватают, тянуть больше нечего. Так ли, сяк ли, а надобно что-то порешить. Теперь ступай к себе: я хочу делом заняться, и некогда мне твою болтовню слушать.

Даша торопливо вскочила с кресла: она привыкла повиноваться и во всем считать себя виноватой. Робко, как пристыженная, она пробормотала:

– Да что ж, Кузя, я пойду... Я только думала, что не мешаю... Я к тетеньке пойду...

Даша тихонько вышла из комнаты. Кузьма же сел за свой письменный стол и из ящика, всегда запертого на ключ, достал заветную тетрадь, на первой странице которой, среди росчерков, было написано французскими буквами, но по-русски: «Moi Journale ili Dnevnik Kosmi Vlasievitcha Roussakova». Не зажигая свечи, при свете лампадки, Кузьма стал записывать мелким, старательным почерком – также французскими буквами по-русски – впечатления сегодняшнего дня. Кузьма поставил себе правилом писать в своем дневнике каждый день, и только самые исключительные обстоятельства заставляли его нарушать это решение.

«Какое необразование окружает меня, – писал Кузьма. – Даже моя сестра Даша, которой я пытаюсь передать здравые понятия, так еще далека от того, чтобы понимать меня. И как приятно, вырвавшись из этой душной среды, встретить существо, в котором чувствуешь родственные струны. Вчера я наскоро записал о своем знакомстве с Фаиной Васильевной Кукулиной. Запишу сегодня подробнее об этом знаменательном в моей тусклой жизни событии...»

Несмотря на полутьму, перо быстро скользило по бумаге. Кузьма привык писать при скудном освещении, и оно не мешало ему поверять страницам «Журнала» самые заветные думы. В доме было тихо. Мысли Кузьмы были опять с милой девушкой, которую в первый раз он увидел накануне и которая, конечно, не догадывалась, какие пламенные строки писались об ней в затишье одного из замоскворецких домов.

V

Осенняя луна серебрила легкую изморозь. Переулок был пустынен. Стены церкви высились сурово и строго, но оттого только волшебнее становился маленький палисадник, с деревьями, уже оголенными наступавшей зимой. Окна церкви были в причудливых переплетах, и казалось, что внутри, в темноте есть кто-то, зорко подсматривающий за тем, что делается наружи... Так, по крайней мере, чудилось Даше.

Она только что прибежала к Аркадию, запыхавшись и покрасневшись от бега.

– Аркадий, милочка, прости, что я запоздала чуточку. Тетеньки с дяденькой дома нету, да я Аннушки боялась: она ехидная, все тетеньке передаст. А тут, как на грех, все в комнатах вертится; банки-де с огурцами надобно пересмотреть; грех такой: скисли они у нас.

Аркадий в своей легкой крылатке жестоко промерз, ожидая Дашу, но, увидев ее, почти забыл про холод. У Даши было миловидное, круглое, чисто русское лицо. При лунном свете она казалась совсем хорошенькой. Весело рассмеявшись на наивные оправдания девушки, Аркадий переспросил:

– Неужели? Так-таки и скисли?

Не дожидаясь ответа, он быстро схватил Дашу и поцеловал прямо в губы. Девушка из его рук вырвалась.

– Разве же можно! – проговорила она, смущенная больше неожиданностью, чем самым поцелуем. – Я же просила вас этого не делать.

– Почему же нельзя? Или ты меня разлюбила?

– Сами знаете, что я вас очень люблю. А только нехорошо пользоваться моей слабостью.

Аркадий увел девушку в глубину церковного двора. Там было темно, и с улицы их нельзя было увидеть, если бы даже кто-нибудь и прошел в это время мимо. Оба сели на скамью, и Аркадий, полуобняв девушку, любовался, как художник, ее милым личиком.

– Я тебя тоже очень люблю, – сказал он, применяясь к ее речи, – и потому целоваться мы можем, сколько хотим. Никакого греха в этом не будет. И ты сама, вместо того чтобы притворяться испуганной, возьми и поцелуй меня, потому что тебе этого так же хочется, как и мне.

Аркадий опять целовал Дашу, а она, хотя и делала вид, что упорно сопротивляется, думала при этом с замирающим сердцем: «Совсем как в романе!»

Когда Аркадий нашел, что достаточно и сказано, и сделано маленьких глупостей, обязательных на свидании с девушкой, он заговорил серьезнее:

– Правда, Даша, что тебя замуж выдают?

– Ох, истинная правда. Уже сваху засыпали.

– Вот как! За кого же тебя прочат?

Опустив голову, Даша объяснила все.

– Не всякий тоже меня и возьмет, – рассудительно добавила она. – Тетенька говаривала, что дяденька приданого за мной тысяч двадцать даст, так по нынешним временам на такие деньги не смотрят. Известно, конечно, я им не родная дочь. Только вот Алпатов тоже племянницу выдавал, так полтора ста тысяч чистыми за ней выложил и лавку красного товара дал. Это каждому лестно...

Аркадию Даша нравилась: нравилась ее наивность, ее молодость, ее здоровая красота. После признаний Даши мелькнула и мысль, что недурно было бы воспользоваться этими двадцатью тысячами рублей: деньги не великие, но и с ними кое-что начать можно. Но тотчас над всем возобладала привычка проповедать, поучать. Взяв Дашу за руку, Аркадий заговорил с жаром негодования, но стараясь выбирать слова, девушке понятные:

– И не стыдно тебе, Даша, говорить о замужестве как о какой-то торговле? Разве ты не понимаешь, что брак – это свободный выбор души. Над твоей личностью хотят совершить насилие, распоряжаются твоей будущей судьбой, не спрашивая тебя. Позволить, чтобы тебя отдали или продали какому-то старику, – значит подвергнуть себя высшему унижению, какому может подвергнуться женщина! Ты обязана громко заявить свой протест против такого

позора! Ты должна возвысить свой голос против произвола, который готовятся совершить над тобой!

Аркадий говорил так несколько минут, но с первых же фраз Даша перестала понимать смысл его речи. Она догадывалась только, что Аркадий ее стыдит, и нашла нужным тихо заплакать. Когда Аркадий, наконец, остановился, она произнесла, всхлипывая:

– Милочка, Аркаша! Я, главное, потому страдаю, что без тебя мне жизнь постыла будет. Так я тебя люблю, что и сказать невозможно. Как только я тебя в первый раз увидела, так и почувствовала, что моя судьба порешена. Я без тебя жить не могу.

Подлинное чувство мешалось в этих словах с отголосками лубочных романов, составлявших любимое чтение Даши. Для Аркадия ее наивное признание послужило прежде всего поводом для новой проповеди. Заговорив, он уже не мог остановиться, и, встав со скамьи, он продолжал свои поучения, говоря с пафосом, даже делая жесты, как актер на сцене (Аркадий был постоянным участником любительских спектаклей, причем всегда играл роли первых любовников, людей высокоблагородных и глубоконесчастных).

– Если ты меня любишь, вообще любишь кого-нибудь, – восклицал он, – ты не имеешь права, нравственного права, выходить за другого! Это значило бы обманывать мужа еще до брака! С другой стороны, уступив требованиям самодура-дяди, ты принесла бы в жертву низким предрассудкам самое святое, что есть в тебе: свое первое, чистое чувство! Я не могу допустить, чтобы на моих глазах совершилось такое преступление. Я протягиваю тебе руку, чтобы вывести тебя из того мрака, в котором ты погибаешь. Я знаю, что в моей жизни есть что-то роковое. Я сам и все, кто ко мне приближаются, обречены на страдания. Но пусть лучше ты будешь страдать, чем медленно гибнуть в той тине пошлости, куда тебя толкают. Смело порви с своим прошлым, скажи твердо, что ты не подчинишься постыдному торгу, и выходи на новую дорогу жизни!

Даше от слов Аркадия стало так жалко самое себя, что она заплакала еще горше, уже вполне искренними слезами. Но из всех призывов Аркадия она поняла только, что он приказывает ей уйти из дома дяди, и спросила жалобно:

– Куда же я пойду? Мне и деваться некуда!

– Куда? – трагически переспросил Аркадий. – Ко мне. Твой брат не откажет тебе в поддержке. Я тоже сделаю все, что в силах, чтобы ты могла жить самостоятельно. Женщина может работать так же, как мужчина. Достаточно она служила прихотям мужчины: пора ей стать с ним рядом, как равноправному члену общества. Приходи к нам, и мы примем тебя как товарища, как друга, как нового сотрудника в общем деле.

Даша прекратила свои всхлипывания и вдруг спросила:

– А вы и взаправду меня любите?

– Если я произнес это слово «люблю», значит, это – правда. Запомни, Даша, что лгать – это унижать самого себя. Мы не должны лгать из чувства собственного достоинства.

С инстинктивным кокетством женщины Даша привлекла к себе Аркадия, усадила его рядом с собой и заговорила быстро-быстро, словно птица защебетала:

– Аркаша, милочка! Ежели ты меня взаправду любишь, так я к тебе приду. Только мы сейчас обвенчаемся, где-нибудь в деревне, в лесу. Я в одном романе читала: так делают. И я тебя буду любить! У тебя такие глаза хорошие, и усы твои мне ужас как нравятся! А потом – к дяденьке, и прямо в ноги. Ведь не зверь же он лютей! Посердится да и переложит гнев на милость. Скажем: «Влас Терентьич! Повинную голову топор не сечет. Дашенька в омут

головой была готова, – а это правда сущая, – на вашей душе был бы грех. Лучше благословите нас, потому что любовь соединила нас по гроб жизни!» Ну, я не умею, а ты разговорчивый. Право слово – благословит!

Аркадий уже чувствовал, что зашел слишком далеко в своих призывах. Сразу утихнув, он слушал болтовню Даши не без смущения. «Однако, чем черт не шутит, – успокаивал он себя, – может статься, девчонка права. Все-таки родная племянница. Титу Титычу своих же близких стыдно станет. Двадцать тысяч – куш не жирный, но надобно все это обмозговать как следует».

– Хорошо, Даша, – сказал он вслух, – мы об этом поговорим после. Пока объяви только своему дяденьке, что насильно замуж не пойдешь. А теперь садись поближе.

Аркадию было жалко, что они столько времени потратили на разговоры. Можно было недолгие минуты свидания провести веселее. Привлекши к себе девушку, он снова начал целовать ее в губы, в щеки, в глаза, обнимая все более и более вольно. Даша не на шутку смутилась от такой ласки, отбивалась решительно, твердила с укоризной:

– И вовсе вы меня не любите. Вы меня погубить хотите. Для вас это игрушки одни.

«А ведь красивая девочка! – повторял сам себе Аркадий. – Действительно, обидно будет, если достанется она пьяному купцу, который запрет ее на кухне. И к развитию она способна: у нее природный ум, она не боится предрассудков. И вдобавок ко всему обещано за ней двадцать тысяч рублей!»

В эту минуту Аркадий почти искренно любил Дашу.

Но долго медлить на свидании Даше было опасно: дома легко могли заметить ее отсутствие. Она настойчиво стала прощаться.

– Голубчик мой, Аркаша, никак больше невозможно. Не ровен час, тетенька вернутся. Что мне тогда будет, и представить – дрожь берет. Нет, уж пусти меня, а я все по-твоему сделаю: упрюсь, не пойду, скажу, за старика, что вы там хотите! Потому что люблю я тебя, Аркаша, страсть как, прямо – обожаю.

Аркадий поморщился на последние слова Даши. Все более и более казалось ему, что он наговорил много лишнего. Но отступить было не в его привычках. Да и близость Даши, развеселившейся, бойкой, красивой, волновала его.

– Да, да, упрись, Даша, – сказал он, – а там посмотрим, что предпринять.

Аркадий проводил Дашу до угла. Они поцеловались в последний раз, причем Даша обеими руками обняла Аркадия за шею. Потом она быстро побежала по направлению к дому, вниз по переулку.

Оставшись один, Аркадий постоял несколько мгновений в театральной позе, покачал головой, как если бы он был в глубоком раздумье, наконец, тоже пошел, постепенно ускоряя шаг, ежась от вечернего холода. Он был недоволен собой.

«Размяк я, как мальчишка, – рассуждал он. – Навязал себе на шею девку, не скоро разделаешься. Правда, субъект преинтересный. То наивна, как младенец, то так обнимет, что опытной кокотке впору. Да и статьями вышла: плечи круглые, груди колыхаются, глазенки блестят... Конечно, пока я ничем с ней не связан; скажу: извините, вы не так меня поняли. Но досадно будет с Кузьмой рассориться: парень полезный, и сейчас случается у него нужное перехватить, а если он оперится, так это просто золотое дно будет!. Ну, да не робей, Аркадий, хуже запутывался, и то выплывал с успехом. Голова-то на плечах. Не будь только

не в меру романтиком!» («Романтик» для Аркадия был одним из самых бранных слов.)

Аркадий мог вволю предаваться своим размышлениям, обсуждать все возможности, какие открывались для него после признаний Даши, и вспоминать сходные случаи из своей прошлой жизни, богатой любовными приключениями, так как путь ему предстоял не близкий. Перейдя через Яузский мост, Аркадий пошел вверх по бульварам, скудно освещенным керосиновыми лампами, пробираясь к центру города. На Кузнецком мосту, в подвальчике, был ресторан «Венеция», где в биллиардной собирались приятели Аркадия: он любил ораторствовать перед ними, а кстати надеялся, что кто-нибудь из них угостит его. Ощупав в кармане кошелек, Аркадий проверил его содержимое и лишний раз убедился в его скудости. «Семь гривен всего! Подлец Кузьма так и не дал ничего! Ну, авось Ельчевский угостит: даром, что ли, я прошлый раз битый час излагал ему принципы рациональной эстетики! Небось он теперь во всех салонах изумляет дам своим умом и познаниями!»

Несмотря на то что Аркадий давно уже шагал торопливо, ему было холодно. Плохонький обед из кухмистерской, съеденный несколько часов назад, голода не насытил. Воспоминания о полуобещаниях, данных Даше, упорно возвращались на ум. Настроение духа Аркадия решительно портилось. Наконец, открылись более освещенные центральные улицы и приветливо замигал газ у входа в «Венецию».

«Вот пристань, к которой я стремлюсь теперь! – почти вслух произнес Аркадий с трагическим выражением лица (он охотно играл роли и наедине). – Вот куда привела жизнь меня, мечтавшего о триумфах и орденах! Не по розам лежит путь человека, который смеет мыслить самостоятельно!»

VI

По обыкновению при свете лампадки Кузьма писал свой «Журнал или дневник». На этот раз он подробно описывал свою попытку научиться танцам. Так как он писал французскими буквами, то мог не бояться, что его записки попадут в руки отца.

«Выпросил-таки у папеньки, – писал Кузьма, – 15 рублей, чтобы учиться танцевать. Спервоначально нипочем не хотел давать, все твердил: „Нам оно не к лицу“. Спасибо, маменька подсобила. Теперь, говорит, везде танцуют, вот у Семипятого, на что первейший купец, в дому танцы бывают. Дал. „Отвяжись“, – говорит.

Я пошел искать учителя. В „Ведомостях“ было объявление: „Учитель бальных танцев Вишневецкий. Средне-Кисловский переулок, дом Архипова“. Искал, искал, насилу нашел дом. „Где, спрашиваю, танцевальный учитель здесь живет?“ – „А это, говорит, нужно идти прямо, потом заворотить на другой двор, и прямо упретесь в крыльцо“. Насилу разыскал крыльцо, взобрался по лестнице, чуть не упал: темно и склизко. Попал в кухню, дальше прошел в залу; там один ученик уже учится, скрипач играет, а учитель показывает. Меня спрашивают: „Что вам угодно?“ – „Мне, говорю, надобно танцам выучиться“. – „Это можно, говорит, какие же вы хотите танцы?“ – „А сколько вы берете, чтобы выучить вальсу?“ – „Пять рублей. У меня все равно: французская кадрили, лансье, полька, мазурка тромбле, галоп, одинаково пять рублей за каждый“. – „Мне, говорю, к четвергу нужно“. – „Можно и к четвергу. Сегодня вторник, так в два дня очень можно выучиться. Можно и в три часа, ежели хорошенько показать“. – „А меньше пяти рублей нельзя никак?“ – „Да вы разочтите: скрипачу нужно три рубля дать, себе за труды и на расходы всего два рубля“...»

С такою же обстоятельностью описывал Кузьма и весь свой разговор с танцевальным учителем и свой первый урок. Ему все казалось, что учитель смеется над неловкостью его

движений, и описание урока несколько раз прерывалось восклицаниями: «Да где же мне было хорошие манеры приобрести!» или «Какая уж у меня грация, коли целый день над конторкой сидишь!» За описанием урока неожиданно последовали стихи, под которыми была поставлена подпись: «Сочинял Козим Руссаков, 12 октября 1862 года».

Ты предо мною показалась,
Как будто чудная мечта,
И сердцу в этот миг казалось,
Что засияла красота.
Ты не была подобна многим,
Тем детям ложной суеты,
Но ты смотрела взором строгим,
Как гений смотрит с высоты.

Во втором стихе Кузьма сначала написал «райская мечта», а в последнем – «ангел смотрит», но потом тщательно зачеркнул эти выражения и заменил другими: «рай» и «ангел» – глупые предрассудки.

Тихонько отворилась дверь, и вошла Даша.

– Не помешаю, Кузя?

– Ничего. Поговорить хочешь?

– Надо-ть, Кузя.

Однако заговорить сразу о своем деле Даша не решилась и, помолчав, спросила:

– А вот тетя Маргарита намедни рассказывала, будто какой-то колдун показывал государю мертвых. Как ты думаешь, правда это?

– Все это враки, Даша, никаких колдунов не бывает.

– Она говорила, будто государю хотелось посмотреть своих предков, и велел вызвать отца своего Николая Павловича. Колдун вызвал, и тот будто дотронулся до щеки государя. Потом пожелал видеть Екатерину, и та погрозила ему пальцем. Еще после Петра Первого. Колдун говорит, что хоть и можно, но очень трудно. И такой он показался страшный, что государь упал в обморок.

– Напрасно ты слушаешь, Даша, всякие глупости.

Опять наступило молчание. Кузьма был недоволен, что Даша помешала ему писать. У нее же все не хватало духу начать речь о том, за чем собственно она и пришла.

– Я теперь, Кузя, – сказала Даша, – читаю роман, Зотова сочинение: «Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы», – очень интересно.

– Тоже небось Маргарита принесла? Все ты вздор читаешь. Я же давал тебе дельные книжки!

– Да что ты, Кузя: то – «глупость», то – «вздор». Уж будто все тебя дурее. Скучные они, твои дельные книжки-то.

– Скучные потому, что в тебе нет потребности развивать себя.

Замолчали в третий раз. Кузьма уже готов был сказать Даше, чтобы она не мешала ему заниматься делом, как вдруг она заговорила:

– Я, Кузя, хочу из дому уйти.

– Как уйти из дому? Куда же ты уйдешь?

Потупясь, Даша стала сбивчиво объяснять свое решение.

В ее словах были отголоски проповеди Аркадия, которую она поняла как-то по-своему, собственные измышления в духе прочитанных ею романов и искреннее чувство тоски и страха за свое будущее. Несколько раз во время речи Даша принималась всхлипывать, так как, по уверению тетеньки, «глаза у нее были на мокром месте». Кузьма слушал сумрачно.

– Как я подумаю, братик, – говорила Даша, – что быть мне за этим самым Гужским, так у меня душа перевертывается. Ведь он меня бить будет. Опять же у него дети. Почему я такая несчастная? Аркадий так меня стыдил, пересказать нельзя. Он мне говорит: «Приходи ко мне, и мы начнем новую жизнь. Я, говорит, без тебя был несчастен и очень тебя люблю». Правда, Кузя, так и сказал. У меня даже дух захватило. Оно, конечно, боязно: как же супротив дяденьки и без благословения? Да Аркадий пообещал в деревне повенчаться. Теперича я и думаю, как лучше. Все равно один конец, так лучше попытаться. А? Скажи, Кузя?

– Прежде всего, – рассудительно сказал Кузьма, – постарайся говорить правильно. Что это за «теперича», «супротив», «боязно»; надо говорить: «теперь», «против», «страшно». За твои слова мне перед другими бывает стыдно.

– Эх, Кузя! До слов ли мне, когда впору руки на себя наложить. Тетенька говорила, что на той неделе быть смотринам. Неволят меня за старика, а ежели я Аркадия пламенно люблю?

Вопрос был серьезный. Кузьма встал и начал ходить по комнате. Разговор шел вполголоса, чтобы не разбудить родителей, и так же, полушепотом, Кузьма стал спрашивать Дашу:

– Аркадий сказал, что любит тебя? Звал уйти к нему?

– Вот тебе крест, братик!

– Подумай, Даша, какая ты ему пара? Он – образованный, личность выдающаяся, у него высшие стремления. Можешь ли ты сознательно разделять его взгляды, быть сотрудницей в его работах, поддерживать его? Не окажешься ли ты для него лишним бременем? Может быть, он из благородства хочет помочь тебе. Хорошо ли пользоваться таким великодушным порывом души?

Когда при Даше говорили «страшные» слова, она всегда начинала в ответ плакать. Так и теперь она отозвалась сквозь слезы:

– Ведь я его люблю, Кузя! Ужасно буду любить! Усы у него – просто прелесть!

Кузьма втайне был очень польщен тем, что Аркадий, перед которым он все же благоговел, избрал Дашу. Привыкнув к ней с детства, Кузьма ценил в ней душу искреннюю, легко

увлекающуюся, не лишенную своеобразной поэзии. Но вместе с тем Кузьма считая своим долгом оберечь своего друга от неосторожного порыва, внушенного, может быть, излишним благородством.

Долго Кузьма полушепотом уговаривал Дашу не спешить с исполнением своего решения.

– Ежели тебе так невыносимо идти замуж за Гужского, почему ты не сказала этого папеньке прямо?

– Сробела я, Кузя, очень. И то: дяденька – мой благодетель: всем я им обязана. Да и сам знаешь: как ему перечить? Скажет: уходи на все четыре стороны.

– Полно, Даша, папенька вовсе не такой самодур. Он покричит, но поймет твои чувства. А ежели и прогнал бы, так ведь все равно – ты собираешься уйти. Можно уйти и не к Аркадию. Живут другие девушки своим трудом. И я тебе помогу, чем возможно...

– Не дело ты говоришь! – с сердцем возразила Даша. – Другие – те, может, ученые: уроки дают. А я толком и шить не умею. А тебе из чего мне помогать? Зачастую сам рубля не допросишься. Или мне Аркадию довериться, или в Москву-реку головой. Так-то, Кузя!

Долгое совещание закончилось тем, что Кузьма обещался сам переговорить с Аркадием. Надо было, однако, с переговорами спешить, так как сваха тоже настаивала на скором ответе. «Честным пирком, да за свадебку», – говорила она, намекая, что Гужский твердо порешил жениться: будете дело оттягивать, так он и другую невесту найдет.

Даша ушла от Кузьмы несколько успокоенной. После ее ухода Кузьма долго еще шагал по комнате. Он мечтал о том, что Даша станет женой Аркадия. В их доме будут собираться умные люди, студенты, актеры, может быть, писатели. Будут говорить об умных вещах, о литературе, о театре, о политике. Кузьма будет там свой человек. Он к этому обществу привыкнет, перестанет смущаться... В конце концов ведь у него есть дельные мысли: нашлось бы, что сказать другим. Среди гостей будет иногда и Фаина...

В мечтах Кузьма начал сочинять длинную речь, которую ему, может быть, придется произнести на одном из таких вечеров. Положим, заговорят об Островском. Кузьма много над ним думал, читал Добролюбова... Кузьма тщательно подбирал слова своей будущей речи, становился в подходящие позы («позиции», указанные танцевальным учителем), пытался угадать возможные возражения и свои находчивые ответы на них, – все так, словно эту речь ему предстояло произнести завтра...

Поймав самого себя на таком странном занятии, Кузьма тут же мысленно обозвал себя дураком, опять сел за свой «Журнал» и, в наказание себе, написал новые стихи:

Я пожелал известным быть, Писать и прозой и стихами, Умно пред всеми говорить И барышень дивить речами: Что вот-де человек какой, Умно и говорит и пишет, А нравом скромный и простой, Не денег, а лишь славы ищет. Но мне ль ученых изумлять, Есть без меня поэтов много: Мне бечевою лишь торговать Да подводить в счетах итоги!

Под этими стихами Кузьма подписал: «Сочинено экспромтом, Козим Руссаков, того же дня и года».

VII

Кузьма боялся прийти к Фаине Васильевне слишком рано, так как слышал, что в «хорошем

обществе» собираются поздно. Другие гости этого правила не соблюдали, и Кузьма, позвонив у дверей часов в 9, был одним из последних. Маленькая квартирка, где жила Фаина со своей теткой, занимавшейся шитьем на магазины, была переполнена. В единственной большой комнате, где все и расположились, было душно, накурено, шумно. Гости – по большей части студенты и молодые девушки, жившие самостоятельно (одни учились акушерству, другие служили в магазинах и т. д.), – разбились на группы, пили чай стакан за стаканом и спорили ожесточенно.

– Спасибо, что пришли, – бросила Кузьме Фаина мимоходом, – здесь есть и ваши приятели. С остальными знакомьтесь сами. У нас просто.

Фаина тотчас поспешила куда-то. Кузьма остался один в незнакомом обществе. Глазами он нашел Аркадия, но тот что-то кому-то оживленно доказывал. Неловко добравшись до свободного стула, Кузьма сел в уголку, стал прислушиваться к разговору и постарался принять непринужденный вид, что ему удавалось плохо. Ему казалось, что на него не обращают внимания намеренно, и в душе он мучился своим смешным положением: неуклюжего, никому не нужного гостя в дурно сшитом сюртуке, тогда как другие были в простых, домашних костюмах. «Господи боже мой! – думал Кузьма, – зачем я надел сюртук! Ведь Фаина говорила мне, что у них – просто».

Около Кузьмы студенты спорили о проекте нового университетского устава. Юноша в очках неуверенно защищал проект, но большинство горячо его оспаривало. Особенно негодовал студент с гривой нестриженных волос, которого приятели называли Мишкой; он поносил «ретроградность» правительства и предсказывал, что студенты возьмут в свои руки дело своего образования.

– Довольно нас водили на помочах! – восклицал он. – Молодежь сама укажет профессорам, что они должны читать ей. К черту римское право и всякую схоластику! Мы хотим науки жизненной! А для этого университет должен быть в руках студентов: они его истинные хозяева!

Кузьме эти рассуждения были совершенно чужды, но он всячески пытался показать, что слушает их внимательно, тоскливо чувствуя свое одиночество.

С полчаса Кузьма просидел, не произнеся ни слова. Наконец Фаина, заметив, что гости ее наговорились вдоволь, предложила просить Аркадия что-нибудь спеть. Ее просьбу поддержали. Аркадий сначала «поломался», ссылаясь на то, что он не в голосе, но довольно охотно взял в руки принесенную гитару.

– Извольте, господа. Я вам спою романс, который написал вчера, так, экспромтом, на слова Лермонтова. Романс, может быть, не подойдет к общему оживлению, но веселие – не моя сфера. Я слишком знаю жизнь, чтобы находить веселые звуки. В некотором роде, это будет та мумия, которую древние египтяне выносили на своих пирах со словами: *memeto mori!*

«Господи боже мой! – подумал Кузьма, – как у него все умно выходит! Умеет же человек вовремя и египтян помянуть. Мне бы этого в жизнь не придумать!» (Несмотря на весь свой атеизм, Кузьма не мог отрешиться от привычки к божбе – и вслух и в мыслях.)

Аркадий взял несколько сумрачных аккордов и запел не лишенным приятности баритоном:

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Мелодия, подобранная Аркадием, довольно хорошо подходила к словам стихотворения, но певец в своем пении как-то особенно подчеркивал отдельные выражения, словно стремился показать, что все, сказанное поэтом, относится к самому себе.

– Что же мне так больно и так трудно... Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть...

Лицу своему Аркадий придавал выражение трагическое и, взяв последний аккорд, опустил голову, словно подавленный неизмеримой тяжестью скорби. Иные из слушателей зааплодировали.

– Это вы сами сочинили? – наивно спросила молоденькая девушка со стриженными волосами.

– Вы спрашиваете о музыке? – поправил ее Аркадий. – Да, я когда-то предавался этому искусству (Кузьма тотчас отметил мысленно красивое слово: «предавался»), но условия моей жизни таковы, что пришлось от него отказаться... Лишь иногда просыпается прежнее влечение... И вот вчера, когда мне было особенно грустно, когда по разным причинам вспомнились все разбитые надежды, сама собой пропелась мне эта мелодия. Я не записал ее... Позабуду ее я, позабудется она и всеми... И пусть... Так, может быть, и надо...

Аркадий медленно подошел к столу, за которым тетка Фаины разливала чай, и попросил налить себе стакан.

Студент Мишка с растрепанными волосами не выдержал и заявил громко:

– Ну, если пришлось отказаться от музыки, горе еще не велико: забава приятная, но совершенно бесполезная.

Заспорили о искусстве.

– Вы что же, совсем отрицаете и музыку и поэзию? – бойко спросила та же барышня со стриженными волосами.

Студент посмотрел на нее снисходительно и отвечал нехотя, как бы стыдясь говорить столь общеизвестные истины:

– Не я их отрицаю, а наш век. Первобытному человеку естественно было тешить себя песнями, плясками и раскрашиванием тела. С развитием просвещения человечество отказалось от всего этого, как от детских погремушек. Ребенку свойственно заниматься игрушками, но у взрослого человека есть более серьезные интересы. Забавам он предпочитает дело.

На защиту искусства выступила Фаина:

– Нет, Михаил Петрович, такими словами вы нас не запугаете. Дело делом, а мы хотим и радости в жизни. Мы здесь вовсе не фанатики. Почему в свободное время не почитать стихи и не послушать музыку, если это доставляет нам удовольствие? Вреда от этого никому нет, а радости много.

«Боже! Как она умно говорит!» – почти воскликнул Кузьма и решился вставить свое слово.

– Кроме того, – произнес он громко, – есть стихи с глубоким содержанием. То есть, я хочу сказать, что стихи бывают разные... Вот, например, Некрасов...

Студент с растрепанными волосами повернулся к Кузьме, оглядел его пренебрежительно и,

все так же нехотя, как бы обронил несколько уничтожающих фраз в ответ:

– Ну, если кто-нибудь не умеет писать иначе, пусть выражает свои идеи в стихах. Разумеется, если это – идеи прогрессивные. Только надо полагать, что скоро все научатся писать языком разумным, не подбирая разных там рифм, из-за которых смысл частенько страдает. Хорош тоже и ваш Некрасов. Вот у него какая-то там «нарядная» едет «соблазнительно лежа» в коляске, точно коляска – кровать. А все от того, что рифма к слову «ложа» понадобилась.

Случилось так, что все примолкли, слушая «Мишку», и теперь ждали ответа от Кузьмы. Но Кузьма смутился от общего внимания и не находил слов. Он даже весь покраснел от волнения. Фаина пришла к нему на помощь и сказала примирительно:

– Все-таки, господа, Кузьма Власьевич: прав. Может быть, у Некрасова есть неудачные рифмы, но он делает большое и полезное дело. Он нас знакомит с бытом народа. А оттого, что он пишет стихами, его прочтут даже те, которые иначе о народе ничего не узнали бы.

Спор о Некрасове продолжался. Но Кузьма уже не слушал его. Вся его душа была исполнена благодарности к Фаине. «Милая! – думал он, – как ловко она меня выпутала. А я-то тоже! Полез спорить! Сидел бы уж в своем углу, ежели двух слов связать не могу! Подлинно, как говорится: с суконным рылом да в калашный ряд!»

Чтобы прекратить споры, Фаина предложила спеть еще. На этот раз студент-волжанин пропел «Вниз по матушке по Волге», – песню, которая почему-то считалась «прогрессивной», и все подтягивали ему хором. Другой студент пробренчал что-то на гитаре. «Мишка» молча улыбался саркастически. Он был из числа случайных посетителей общества, уже успевшего сложиться за короткое пребывание Фаины в Москве.

Принесли пиво, и общее оживление еще увеличилось.

VIII

Наконец дошло дело и до танцев. Танцевали также под гитару, так как иного музыкального инструмента в доме не было. Играли на гитаре по очереди, и все играли плохо, но это не мешало молодежи веселиться.

Фаина сама пригласила Кузьму на кадрили.

– Вы танцуете, Кузьма Власьевич? – спросила она.

– Как же-с, Фаина Васильевна. Нынче все танцевать обязаны, то есть ежели кто хочет бывать в обществе. Почему же вы меня таким необразованным считаете?

– Полноте, я ничего такого не думала. Многие очень образованные люди не танцуют. Итак, мы будем с вами танцевать кадрили. Я уже просила Аркадия Семеновича быть нашим визави.

В кармане у Кузьмы были припасены для танцев перчатки, но не белые, а цветные. Уже после покупки их он узнал, что для танцев нужны белые перчатки, и это его мучило. Однако он с радостью увидел, что молодежь танцует без всяких перчаток, и благоразумно не показал своих вовсе. Мучило Кузьму еще опасение, что он перепутает все фигуры танцев, и он наскоро перебирал в уме наставления танцевального учителя. Но и эти опасения были излишни. Танцы шли «по-домашнему», и танцевальный учитель пришел бы в истинный ужас, видя, что никакие позиции здесь не соблюдаются.

За кадрили было весело: смеялись, обменивались шутками. Даже Аркадий отказался от своего мрачного вида и, меняясь дамами с Кузьмой, острил по этому поводу, намекая на его чувство к Фаине. Развеселился и Кузьма, поняв, что к нему вовсе не относятся с намеренным пренебрежением.

В перерыве между двумя фигурами Фаина сказала Кузьме:

– Мне надо поговорить с вами, Кузьма Власьевич. Сядем после кадрили в сторонке.

Когда закончился традиционный grand rond[1] и распорядитель танцев объявил польку, Фаина усадила своего кавалера за круглый столик и повела деловой разговор.

– Позвольте, Кузьма Власьевич, сказать вам откровенно, что вы с первого знакомства показались мне человеком очень симпатичным. Все, что вы говорили, было так дельно, что я сразу почувствовала к вам доверие. Если и вы мне доверяете, мне хочется посоветоваться с вами об одном деле.

Доверие от нее! от Фаины! Мог ли Кузьма мечтать о большем. И смущение и восторг разом заполнили его душу. Доверие ведь может быть началом любви, а тогда... Но Кузьма не успел закончить своей мысли. Заметив, что Фаина сделала маленькую паузу и ждет его ответа, он пробормотал:

– Помилуйте, Фаина Васильевна! Да я за большую честь почту-с. Мне, так сказать, лестно-с...

И вдруг добавил:

– Я ведь никогда не встречал таких, как вы. Вы не подумайте что-нибудь, только я... Каждое ваше слово для меня... Знаете-с, с той поры, как я вас увидал, вся моя жизнь переменялась...

Он опять смешался, а Фаина весело рассмеялась:

– Вы, кажется, мне комплименты говорите или в любви хотите объясниться! Пожалуй, слишком быстро!

Дядюшка, Пров Терентьевич, сравнил бы Кузьму в эту минуту с вареным раком – так он покраснел, но Фаина смеялась добродушно. Она не была красива. У нее было простое лицо, немного малороссийского типа; на вид было ей никак не меньше двадцати лет, так что особенно юной она не казалась; волосы ее были зачесаны гладко, что также ее старило. Но смеялась она совсем по-детски, открывая белые, блестящие, здоровые зубы. Перестав хохотать, она продолжала:

– Вы не сердитесь, милый Кузьма Власьевич. Я уж такая хохотушка. А вы так трагически заговорили... Ну, да оставим это. Я лучше вам скажу о том деле, о котором хотела с вами посоветоваться.

Дело, как оказалось, состояло в том, что Фаина, вместе с несколькими друзьями и подругами, собиралась взять в свои руки типографию. У Фаины есть подруга – Надя Красикова, а у Красиковой – дядя, владеющий небольшой типографией. Дела типографии шли так плохо, что владелец хотел ее закрыть. Тогда Наде Красиковой и Фаине пришла в голову мысль самим повести эту типографию. Будет организовано общество на паях. Члены общества будут в то же время и работниками. Делать будут все сами: набирать и печатать книги, принимать заказы и развозить отпечатанные экземпляры, даже чистить машины и подметать полы. Все члены при этом будут между собою равны, черную работу исполнять попеременно, а барыши делить поровну.

– Подумайте, – говорила Фаина, – какое это прекрасное начинание! Наша типография будет образцом тех коопераций, основанных на рациональных принципах, к которым в будущем должны будут перейти все промышленные предприятия. В нем будет устранена всякая возможность эксплуатации чужого труда. В то же время этим мы откроем новую эру женского труда, так как в нашей типографии женщина будет работать наравне с мужчиной. Узнав вас, я сейчас же догадалась, что вы нашим делом заинтересуетесь, и решила привлечь вас к участию в нем.

Фаина говорила не без энтузиазма, хотя, вероятно, повторяла чужие слова, может быть, Аркадия. Кузьма смотрел на нее с восхищением. Кто-то в это время пытался играть на гитаре польку. По маленькой зале вертелись пары, натываясь на стулья. Табачный дым, словно дождевая туча, колыхался под потолком, оклеенным белой бумагой. Но молодая девушка, говорившая такие умные слова, как «кооперация», «рациональный», «эксплоатация», была для Кузьмы явлением совершенно новым, невиданным. Мечта – работать вместе с ней, встречаться с ней ежедневно за общим делом, показалась ему мечтой о каком-то райском житии, о каких-то блаженных островах. Однако, когда Фаина замолчала, Кузьма ответил осторожно:

– Чем же я могу быть вам полезным, Фаина Васильевна? Я в типографском деле ни бельмеса не смыслю. Опять же у меня времени нет: слышали верно, я в лавке, при папеньке. Мне отлучаться никак невозможно. Поверьте, Фаина Васильевна, я не только что всей душой желал бы, но, так сказать, за счастье почел бы одно с вами дело делать. Но ведь ежели я от папеньки, скажем, уйду, мне, можно так выразиться, придется ни при чем остаться.

Как только заговорили о вопросах практических и житейских, Кузьма почувствовал себя более в своей области. Он отвечал Фаине довольно связно и складно, хотя и пересыпал свою речь разными вводными словечками, чтобы придать ей больше почтительности. Фаине, однако, ответ Кузьмы, видимо, не понравился. Она досадливо закачала головой и прервала Кузьму:

– Мы понимаем, что вы не можете участвовать личной работой. Но вы примете участие в деле как член общества. Для организации его нужны деньги, хотя бы небольшие. Вы возьмете пай, будете иметь все права члена общества, но работать мы не будем вас принуждать.

– Как же так? – возразил Кузьма. – Вы, кажется, сказали, что все члены общества должны одинаково работать?

– Ну, нет правила без исключения! – опять засмеялась Фаина.

Потом она быстро добавила:

– Я к вам потому обратилась, что мне хочется привлечь вас к нашему предприятию. Я заметила, что вы тяготитесь той средой, в которой принуждены вращаться.

У нас вы получили бы возможность приложить свои силы к разумному делу. Я к вам чувствую искреннюю симпатию. Мне будет очень приятно, если вы также окажетесь в нашем обществе.

– А почему будут продаваться паи? – спросил Кузьма.

– Ах, ну каждый внесет, сколько может. Мы начнем дело скромно. Вы дадите, например, пятьсот рублей, – для начала. А там посмотрим, может быть, этого и достаточно.

«Пятьсот рублей! – подумал Кузьма. – Я вот на танцы у папеньки насилу 15 целковых выпросил!»

Кузьма, однако, не сказал этого вслух. Неужели сразу разбить мечту о близости с этой «чудной» девушкой? Да и надо подумать об ее предложении. В конце концов, имеет же он право на какие-нибудь деньги! Ведь с малолетства день за днем он работает в лавке. Что-нибудь он да выработал! Что, ежели прямо попросить у папеньки: «Дозвольте мне на одно хорошее дело взять пятьсот рублей»... Не на баловство это пойдет.

Фаина еще поговорила с Кузьмой, расспрашивала о его домашней жизни, просила познакомиться с сестрой, о которой слышала от Аркадия, приглашала бывать у себя запросто. Несколько раз Фаина повторила, что он, Кузьма, сразу ей понравился, что она почувствовала в нем что-то себе родственное. Она даже спросила:

– Наверное вы стихи пишете?

– Пишу, – признался Кузьма, снова покраснев.

– Видите, я догадалась! Вы не смотрите на них (она сделала жест в сторону «Мишки»), что они там говорят против поэзии. Это уж не ново, вчерашние слова повторяют. А я очень люблю стихи. Вы мне принесите свои почитать.

Тетка позвала Фаину, слишком долго засидевшуюся около одного гостя. Кузьма снова остался в одиночестве. Но теперь он уже не без гордости посматривал на других, после того как Фаина удостоила его такого длинного разговора. Ему казалось, что это все заметили и переменили к нему отношение. К тому же вскоре подошел к Кузьме молоденький студент, Фишер, выпивший несколько больше пива, чем следовало, и заговорил о необходимости превратить Россию в федеративную республику, по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. Кузьма, не решаясь спорить, поддакивал студенту, и тот был этим вполне доволен, восклицая по временам:

– Верно, товарищ! Посему – выпьем! Vivat et respublica![2]

Под конец вечера возгорелся был спор между «Мишкой» и Аркадием. Точнее сказать, «Мишка» настойчиво требовал, чтобы Аркадий спорил с ним, но тот всячески от спора уклонялся.

– Нет, черт вас дерит, – требовал студент, – вы мне ответьте прямо: признаете вы коммунальное устройство жизни или нет? Требую прямого ответа: да или нет!

– Все равно, господа, – отвечал Аркадий, стараясь обращаться не к наступавшему на него оппоненту, а ко всему обществу, – какой бы общественный строй вы ни ввели, страдать люди будут по-прежнему. Ни фурийизм, ни социализм не могут сделать счастливыми тех, у кого нет счастья в душе. Сумма горестей во всем человечестве всегда останется одна и та же.

– Слыхали мы эти мефистофелевские слова, – громовым голосом возражал «Мишка». – Это вы от «отцов», от людей 40-х годов! Да еще с прибавкой их же иллюзий о какой-то «душе»! Нет, наука нам доказывает, что правильное распределение человеческих усилий ведет именно к сокращению суммы страданий! Кроме, разумеется, страданий измышленных, в «душе» помещающихся, на манер Гамлета или Рудина. Да-с!

– Vivat et respublica! – подхватил Фишер.

Многие из присутствующих были в столь возбужденном состоянии, что явно уже пора было расходиться. Аркадий взял на себя труд выпроводить гостей. Вообще он держал себя в доме как свой человек. Стали прощаться, но еще в передней продолжали спорить о самых высоких предметах. Рослый Приходько, один из «вечных студентов», перешедший, кажется, уже на четвертый факультет, энергично тряс руку Фаины, утешая ее на прощание:

– Правильно сделали, что в Москву перебрались. Сами поучитесь, и мы у вас друг друга повидаем. А что вы там стишки любите и танцуете, так это мы вам можем разрешить. Конечно, если только немного.

Гурьбой вышли на улицу. Оказалось, что Кузьме по пути с этим самым Приходько. Пошли вместе, причем студент тотчас принялся критиковать все общество, собравшееся у Фаины.

– Сама она – девочка ничего, – сказал он, – сухопара немного, но видно, что есть в бабе огонь! Ух!

Кузьму, как говорится, передернуло от такого отзыва, и он ничего не ответил.

– Другая, – продолжал Приходько, – тихоня эта, Елена Демидовна, что за весь вечер слова не вымолвила, тоже по губам пришлось бы. Да только она уже занята, есть свой сударик. Мишка наш сегодня сплошал: выдохаться стал. Стучит по одному месту, как дятел. Фишерка налился. «Республика» кричит, а в университете – первый шпион и наушник: все инспектору доносит. Бить скоро этого Фишерку будут: уже порешено. Приятель ваш, Аркадий, малый с головой, да много в нем сидит этого самого идеализма: старой закваски человек. В общем, от него, как от козла, ни шерсти, ни молока...

Кузьма был рад, когда на перекрестке он мог попрощаться со своим попутчиком.

– Захаживайте! – сказал ему, прощаясь, Приходько. «Как бы не так! – подумал со злобой Кузьма. – Довольно с меня тетки Маргаритки, чтобы судачить!»

IX

Сватовство Даши шло быстро; решено было устроить смотрины, и Влас Терентьевич выдал 20 рублей на новое платье.

– Смотри, Дашка, – объявил он, – чтобы у меня все было чин-чином, как должно. Степан Флорыч, того, человек обстоятельный, с ним шуток не шути. Разные там девичьи увертки, что, мол, не молод, брось. Мы тоже смотрели, когда выбирали. Дело у него свое, хорошее дело. Будешь за ним, как у Христа за пазухой.

Даша слушала, побледнев. Слова, подсказанные Аркадием, как бы душили ее, как бы подступали к горлу, как иногда слезы. Ей казалось, что она сейчас упадет на колени и заявит: «Воля ваша, дяденька, а только я за него не пойду!» – и скажет «все». Но привычный страх перед дяденькой восторжествовал. Она почти сама не знала, как проговорила в ответ:

– Вам, дяденька, виднее, нешто я супротив вас могу? Я завсегда вам, как благодетелю моему, благодарна. Коли прикажете, так я пойду.

– Ну, то-то, – сказал Влас Терентьевич, вполне удовлетворенный. – И денег за тобой дам, словно бы за дочерью, и приданое справим, честь честью, по рядной передам. Тетка тебе уже скажет: две шубы будут, одна, того, на лисьем меху. А ежели начнешь дурить, то вот тебе бог, а вот порог. Слышала?

– Слушаю-с, дяденька.

– Целуй у дяденьки руку-то, дура! – вставила тетка Орина Ниловна, присутствовавшая при объяснении.

Даша поцеловала руку у своего благодетеля и вышла вон. Через минуту Даша была у Кузьмы. Разговаривать надо было шепотом, хотя Даша по обыкновению рыдала.

– Кузя, родной мой, согласилась я! Дяденька эдак глядит, испужалась я страсть. Как вы прикажете, говорю, так и будет.

– Зачем же ты соглашалась? – с негодованием спросил Кузьма. – Теперь пеняй на себя. Следовало прямо сказать, что насильно замуж не пойдешь. Как же тебе не стыдно быть до такой степени в рабстве, что ты собственного мнения высказать не смеешь!

– Эх, Кузя! Сам-то ты больно востер! Тоже, как с папенькой говорить приходится, небось хвост поджимаешь. А меня стыдишь.

– Что же теперь ты будешь делать?

– Почем я знаю. Побегу и утоплюсь.

– Это, положим, глупости.

– И вовсе не глупости. Увидишь, не то скажешь.

Брат с сестрой шептались долго, а в это время Влас Терентьевич, забавляясь со своей «старухой» игрой в дурачки, в старые-престарые, все замасленные карты, также обсуждал будущую судьбу своей племянницы.

– А что, Орина, – говорил он, – я думаю, того, жених для Дашки подходящий, а?

Орина Ниловна, которая за двадцать пять лет замужества привыкла ни в чем не перечить мужу, и тут сочла нужным поддакнуть ему:

– Мужик правильный, что говорить. – Но потом добавила робко: – Вот летами он, может стать, не вовсе вышел. Девка она молодая, а Флорыч – вдов, детки у него. Тяжко это будет, чужих-то нянчить. Поглядишь это, да жалость берет.

– Ну, ты, старуха, этот миндаль оставь, – строго заявил Влас. – Постарее, оно, крепче будет, не ветрогон какой. И то рассуди: все ж не родная она нам. Много за нею дать нам не расчет. Капитал в одни руки идтить должен: потому, иначе делу ущерб. А без денег ноне не всякий возьмет.

Орина помолчала, подбирая «пяток», а за ним «тройку» с козырным тузом, так что старик остался в дураках.

Но, когда он вновь тасовал колоду, не утерпела и попробовала замолвить еще словечко за Дашу:

– Тоже книжки она приобыкла читать. Онамеднясь зашла это я к ей, она, значит, при лампадке так и зачитывает... А Флорыч-то, слышь, в дому книжек-то чтобы духу не было. Тяжко это ей, Дашке-то, будет.

Влас положил колоду на стол, посмотрел пристально на жену, сплюнул и покачал головой.

– Ну, Орина, была ты дура, дурой и осталась. Ты вот онамеднясь видела, что Дашка книжки читает. А куда девка по вечерам бегаёт, ты того не видишь? Я вот говорить не хотел. А уж коли на то пошло, так скажу: пора девку выдавать, баловаться начала! От этих самых книжек. Протянем дольше, худо будет!

– Батюшка, Влас Терентьич! – так и взмолилась Орина. – Да что это ты говоришь? Да как же

так, по вечерам бегают? Да откуда ж это ты? Да ее, подлую, опосля того розгой...

– Знай помалкивай, старуха, – сумрачно ответил Влас, берясь опять за карты. – Откуда знаю, не твоего ума дело. Ну, оно, тебе ходить.

Игра продолжалась. Проигравшего били пачкой карт по носу, почему и самая игра называлась «в носки». Выиграв, Влас исправно пользовался своим правом и щелкал жену по носу. Проиграв, без возражений подставлял свой нос, и тогда Орина щелкала мужа, впрочем, с опаской, больше для вида. И такая забава происходила почти каждый день, год за годом, в течение четверти века, пока хозяин, зевнув, не объявлял:

– Ну, оно, умаялся я. Пора, того, и соснуть. Крестись, старуха.

Игра «в носки» была едва ли не единственным развлечением стариков. Случалось, конечно, бывать на семейных торжествах, на именинах, крестинах, свадьбах, похоронах, но только у самых близких родственников, в общем не чаще, как раза три в год. Вина, не в пример другим обитателям «города», Влас почти не пил, так разве за компанию с отцом благочинным рюмку русской мадеры. Покойный батюшка, Терентий Кузьмич, пивал много, даже запоем страдал и чертей на бороде ловил; так это подействовало на Власа, что он дал себе зарок не пить и свято соблюдал его всю жизнь. В театрах старики, разумеется, не бывали. Орина так никогда и не видала, что это за штука такая «киатер», да и не пошла бы, если бы даже ей предложили, «черта тешить». Влас соблазнился-таки однажды и полюбопытствовал посмотреть тот самый Большой театр, который при Николае Павловиче горел, но состоялось это посещение театра случайно: знакомый печник задаром провел, можно было из-под люстры посмотреть, как голоногие девки на сцене пляшут. После того зрелища Влас отплевывался с неделю. И когда Кузьма просил денег на театр, Влас каждый раз говорил ему:

– Что ж, оно, побалуйся. Токмо, того, не понимаю я, чего тут. Видал я этот самый киатер: зазор один.

Впрочем, к развлечениям относилось еще посещение церкви. Под большие праздники и на праздники Влас неизменно отправлялся ко всеобщей и к обедне, в приходскую церковь Косьмы и Дамиана, выстаивал всю службу на почетном месте, истово крестился, иногда вздыхал и выговаривал вслух: «Господи, помилуй мя, грешного» (иных молитв он не знал). При этом Влас искренно любовался позолотой храма, блестящими облачениями духовенства, миганием зажженных свеч. «На благолепие, того, приятно и поглядеть!» – говорил он. Конечно, Власу доставляло удовольствие и почтение, с каким к нему относились члены причта и многие прихожане, но больше всего привлекало его в церковь именно ее пышное убранство. Влас уже несколько раз жертвовал, и сравнительно крупные суммы, на украшение храма, но собирался пожертвовать и еще, «чтобы все, значит, как в самом первом соборе было: ризы, хоругви, паникадила и прочее, позолочено и блестело». Вот чтобы поторопить Власа сего пожертвованием, и говорили об том, чтобы избрать его церковным старостою.

Однако истинным развлечением Власа оставалась игра «в носки»... На столе докипает пузатый, ярко вычищенный самовар; горит свечка в оловянном подсвечнике; вся обстановка кругом – знакомая, привычная: диван и кресла «под красное дерево», купленные по случаю у знакомого старьевщика, круглый хромающий стол, этажерка с китайским болванчиком, доставшимся еще от отца, с праздничной посудой, хрустальной сахарницей, объемистыми чашками с разводами и надписями «для дорогого именинника» или «выпей по другой»; тут же и вся библиотека: старинное Евангелие, которого никто не читает, листовки – жития святых, описание Макарьевской ярмарки, издание 1811 года. По крашеному полу проложены чистые половики. Пахнет лампадным маслом и воском, которым что-то чистят, немного камфорой и соленьями, стоявшими в соседней комнате (где спит Даша). В спальней, где громадная

деревянная двухспальная постель хозяев, в углу, – знаменитый «сундук», предмет насмешек и зависти многих: Влас действительно не доверял банкам и хранил свои сбережения дома, в процентных бумагах, от которых отрезал купоны, заперев дверь комнаты на ключ и даже завесив ее одеялом. Весь этот уют, все это благополучие созданы им самим, Власом Терентьевичем Русаковым: еще отец его, покойный Терентий Кузьмич, довольствовался маленькой каморкой при лавке, где ютился с женой и детьми. А Влас подумывает об том, чтобы и домик, где он живет, купить в свою собственность: последний раз с владельцем в четырехстах разошлись. Разве же не наслаждение в такой обстановке, после трудового дня, длящегося с семи утра по семь вечера, играть «в носки» со своей «старухой», с которой в мире и правде живет Влас вот уже вторую четверть века, правда, не совсем без греха (немало поплакала Орина при одной молоденькой кухарке, которую Влас потом выдал замуж за сапожника), но соседям на заглядение.

Влас уже произнес свое обычное:

– Ну, того, пора и соснуть.

Аннушка стащила с хозяина тяжелые сапоги и подала ему на ночь квасу; Орина Ниловна долго молилась перед божницей, усердно бормоча слова, которые считала за молитвы, но в которых не было никакого смысла, потом, видя, что сам уже спит, пошла «проведать Дашку». В проходной комнате было темно, но с улицы в незавешенное окно проникало достаточно света: постель Даши, устроенная на сдвинутых сундуках, была пуста. Орина Ниловна кинулась туда и сюда: Даши не было во всем доме. Подняли на ноги Аннушку: та тоже ничего не знала. Орина разбудила сына. Кузьма угрюмо выслушал сообщение матери и так же угрюмо заявил:

– Вы ее хотели выдать замуж насильно: вот она и ушла из дому.

– Сбежала Дашка-то? – всплеснула руками Орина Ниловна.

– Ну да, видно, сбежала.

Сначала Орина не находила слов, но потом запричитала:

– Господи! Господи! Стыд-то какой! Что ж теперича суседи скажут! Ночью девка из дома сбежала! Да сам-то, убьет он меня: дура, скажет, старая, не доглядела! Да мне бы сейчас сквозь землю провалиться.

– Поздно плакаться, маменька, – сказал Кузьма, – раньше бы смотрели. Неужто вам невдомек было, что ей что за старика идти, что в гроб лечь – одно. Сами до того ее довели: обрадовались, что больно она кротка, слово против вымолвить не смеет.

– Уж ты-то помолчал бы! – крикнула на сына Орина Ниловна. – Яйца курицу не учат. Как, оно, теперича с Власом Терентьичем быть?

После домашнего совета, участие в котором принимала и Аннушка (кстати сказать, поговаривали соседи, что и ее не обошел Влас своей благосклонностью), было решено до поры до времени ничего не говорить отцу о побеге Даши. Кузьма обещал с раннего утра отправиться на ее поиски. Аннушка поклялась богом истинным, что о случившемся в доме болтать не станет. Разошлись за полночь с видом таинственным, словно заговорщики.

Х

Не было еще 7 часов утра, когда Кузьма звонил у подъезда того дома на Кисловке, где Аркадий Семенович Липецкий, он же Кургузый, снимал две «шикарных» комнаты у рижской немки Розы Карловны, которая хвалилась тем, что берет жильцов только «очень порядочных». Хозяйка отперла сама – должно быть, прислуга была на рынке, – и, завидя Кузьму, хотела тотчас захлопнуть дверь снова, крикнув: «Нету дома!» Но Кузьма с силой рванул дверь и вошел-таки в прихожую.

Роза Карловна была женщина невысокая, жирная; пальцы ее всегда были унизаны перстнями с громадными камнями. Про нее говорили, что раньше она промышляла делом более прибыльным, чем сдача комнат внаем: принимала у себя молодых, да и не молодых, людей, желающих познакомиться с «добрыми девочками». От этой профессии она сохранила привычку к действиям энергичным и решительным.

– Да когда же я вам говорю, что господина Липецкого нету дома! – почти что закричала она, стараясь вновь вытеснить за дверь Кузьму, которого хорошо знала как частого гостя Аркадия.

– Полноте, Роза Карловна! – гневно возразил Кузьма. – Как нету дома? Куда же ему было уйти такую рань?

– Ну, может быть, они дома, так спят и будить себя не приказали. Я – женщина честная: если мне что-нибудь жилец приказал, я должна исполнить!

Кузьма провел бессонную ночь. Он решил во что бы то ни стало объясниться с Аркадием. Противодействие Розы его раздражало. Он, не слушая ее, пошел в приемную, снимая на ходу пальто.

– Мне надо видеть Аркадия Семеновича, – кратко бросил он.

– Да что же это такое? – кричала Роза, загораживая ему путь. – Да разве так порядочные люди делают? Господина Липецкого нельзя видеть.

Но Кузьма был уже в приемной, резким движением отстранив в дверях Розу. Вдруг он повернулся к ней и спросил прямо:

– К Аркадию вчера пришла барышня? Она еще здесь?

– Ничего такого я не знаю, – все кричала в ответ Роза, впрочем, не особенно повышая голос. – Это даже очень стыдно с вашей стороны такие вопросы задавать. Я дворника позову, если вы не уйдете.

Волна какой-то тупой ярости хлынула в душу Кузьмы; он сам не знал, что способен на такие порывы; опять шагнув к попятившейся перед ним Розе, он произнес отдельно:

– Пойдите сейчас разбудите Аркадия! Я все равно добром не уйду. Я у вас тут скандал подыму, все проснутя.

В это время из соседней комнаты послышался голос Аркадия:

– Это ты, Кузьма?

– Аркадий, мне необходимо с тобой переговорить.

– Хорошо, я сейчас выйду.

– Весьма неблагородно так поступать, и я этого от вас, Кузьма Власыч, никак не ожидала, – прошипела, уходя, Роза.

Кузьма остался один и стал шагать по маленькой комнате, именовавшейся приемной. Она была убрана с немецкой аккуратностью и с претензиями на роскошь. На столах, покрытых скатертями с прошивками, стояли в синих вазах букеты из сухой травы; под каждой вазой, так же как под графином, были постланы вязанные салфеточки; такие же салфеточки были приколоты к спинке дивана. На стенах висели дагеротипы, фотографии и дешевые литографии, изображающие виды Шварцвальда. На окнах с кисейными занавесками были расставлены горшки с лилиями. Вся эта аккуратность была совершенно иного рода, чем уют в доме Русаковых. В квартире этой немки, не брезговавшей «прибыльным ремеслом», чувствовалось какое-то смутное, преломленное сквозь тысячную призму, стремление к красоте, нечто вполне чуждое обстановке русского жилья, в котором искали прежде всего – тепла, потом – покоя и лишь на третьем и не всегда – чистоты.

Мысли Кузьмы были спутаны. Он не сумел бы ответить самому себе, зачем он пришел к Аркадию. Конечно, он пошел искать Дашу, как и обещал матери, но с какой целью? По дороге на Кисловку он несколько раз задавал себе вопрос, по какому праву он вмешивается в личное, интимное дело сестры. Ведь все эти рассуждения о правах отца, брата, мужа – старые предрассудки. Женщина должна быть свободна и свободно располагать своей судьбой. Даша захотела жить с Аркадием: с какой стати он, Кузьма, будет ей препятствовать? И что он возразит, если Аркадий, выйдя, скажет ему: «Мы тебя не звали, зачем же ты пришел?»

Раскрылась дверь, и Аркадий появился. Он был в домашней куртке с цветной тесьмой и кисточками на груди, не то – в архалуке, не то – в подобию гусарского мундира. Аркадий был небрит, лицо его казалось старообразнее, чем обыкновенно, и, что всего более изумило Кузьму, было на этом лице выражение беспокойства, смущения или досады. Очевидно было, что Аркадий расстроен, а может быть, и трусит.

– Здравствуй, брат! – обратился Аркадий к Кузьме и сделал шаг по направлению к нему.

Но совершенно инстинктивно, повинувшись внезапно возникшему чувству, Кузьма руки Аркадию не подал, круто повернул в сторону и сел в кресло. Минуту перед тем он не мог бы предвидеть, что так поступит. Но вдруг ему показалось нестерпимо – жать руку этого человека, и, не подымая на него глаз, он произнес отрывисто:

– Нам надо с тобой объясниться.

Аркадий остановился на полушаге, нервно, немного делано сжал губы, но тоже сел – поближе к двери, чтобы обеспечить себе отступление, – и сказал, стараясь быть развязным:

– Объясниться? Что ж, давай объясняться. Авось что-нибудь и выясним.

Аркадий действительно чувствовал себя беспокойным.

Решительного поступка Даши он все же не ожидал и, правду говоря, думал теперь лишь об одном: как из этого «скверного приключения» выпутаться? Не без боязни посматривал Аркадий на крепкие кулаки Кузьмы и соображал: «Сегодня с ним шутки плохи. Дедовская кровь заиграла. В сущности ведь он – человек дикий. Без разговоров может по физиономии дать...»

Несколько мгновений длилось молчание; наконец Кузьма, преодолев свое волнение, спросил глухо:

– Отвечай, Аркадий: Даша здесь?

Аркадий пожал плечами.

– Странно было бы скрывать. Где же ей быть еще?

– Так что же ты намерен делать далее?

Внешнее спокойствие Кузьмы ободрило Аркадия. Он заговорил чуть-чуть насмешливо:

– Так что, ты явился ко мне на правах оскорбленного брата, защищать честь сестры? Эх, брат! А где же все твои хорошие слова о том, что женщина – свободна, что в любви нет обязательств! Старая закваска сказала: если ты – девушка, так изволь жить по нашему уму-разуму, а не по своему! Так?

Аркадий приводил те самые доводы, которые раньше приходили в голову и Кузьме. Но насмешливый тон Аркадия раздражал Кузьму. Ему казалось, что для шуток сейчас вовсе не время.

– Я только спрашиваю, Аркадий, что ты дальше намерен делать?

– То есть когда дальше? – переспросил Аркадий, выигрывая время, чтобы приготовить ответ.

– Ты действительно на ней жениться хочешь?

– Ах, вот что! Для тебя уже стало важно, обведут нас попы вокруг аналоя или не обведут!

Кузьма ударил кулаком по столу. Новый порыв гнева как-то всколыхнул его всего. Рассказывали, что его дед, Терентий Кузьмич, в таком припадке ярости схватил однажды двух дюжих мужиков за шиворот, потряс их, как котят, и вышвырнул из лавки. Такую же ярость внезапно ощутил в себе Кузьма: ему захотелось что-то «расшибить», «разнести», «сокрушить», как пьяному купцу в трактире.

– Аркадий! Я с тобой не спорить пришел! Мне Даша дорога! Любишь ты ее или только так поиграть взял, да и бросить?

Аркадий опять «струхнул не на шутку» (как потом признавался себе) и поспешил Кузьму успокоить:

– Перестань шуметь, что ты! Как тебе не совестно говорить такие слова? За кого ты меня принимаешь? Я Дарью Ильинишну настолько уважаю, что никогда не позволю себе относиться к ней легкомысленно. Конечно, она, по девической своей экзальтированности, сделала из моих предложений такой вывод, которого в них не заключалось. Я, ввиду того, что ее насильственно принуждали вступить в брак, предлагал ей свою поддержку на новом поприще жизни. Она же, по-видимому, поняла это в том смысле, что я предлагаю ей разделить свою жизнь с ее. Конечно, я...

Кузьма не стал слушать дальше.

– Стало быть, ты жениться на ней не хочешь?

Он встал и, побледнев, подошел к Аркадию. У Кузьмы вовсе не было намерения ударить Аркадия или даже угрожать ему, но тот именно так истолковал это движение. Тоже вскочив с кресла, он заговорил быстро:

– Я этого вовсе не говорю... Дарья Ильинишна мне глубоко симпатична... Я нисколько не отказываюсь... Я только пытался установить принципиально...

«Разговорчивый» Аркадий вдруг потерял все свое красноречие. Такой явный испуг был во всем его облике, что Кузьма смотрел на него почти с изумлением. «Мокрая курица», – сказал бы дяденька Пров Терентьевич об Аркадии в эту минуту. Сознывая свое превосходство над

ним, Кузьма спросил с прежней твердостью:

– Женишься ты на ней или нет? По крайности, будешь с нею жить, как муж и жена, честно?

Аркадий залепетал:

– Милый Кузьма, я ни от чего не отказываюсь. Действительно, обстоятельства так сложились... Мне следовало вчера же убедить Дарью Ильинишну вернуться домой... Если я этого своевременно не сделал, тогда, разумеется... Но, видишь ли, Дарья Ильинишна привыкла к жизни с достатком. У меня же, как ты знаешь, ничего нет. Жалованье я получаю грошовое. Дарья Ильинишна мне говорила, что Влас Терентьевич дает за ней приданое небольшое... Как ты думаешь, можно мне на него рассчитывать?

Кузьма начал что-то понимать, и весь гнев сменился в его душе презрением. Отвратительным показался ему этот проповедник свободной и бескорыстной любви, заговоривший о приданом. Овладев собой, Кузьма опять сел; инстинктивно ему захотелось унижить того, перед кем он недавно преклонялся. Кузьма стал деловито расспрашивать Аркадия, на какую именно сумму он рассчитывает.

Аркадий сразу «воспрянул духом» и охотно начал объяснять. Даша говорила ему о 20 000 рублей. Это, конечно, очень немного. Состояние Власа Терентьевича считают до миллиона. Он мог бы дать тысяч 40. Тогда он, Аркадий, основал бы одно дело, о котором давно мечтает... О, высокополезное дело, важное в общественном отношении. И Кузьме нашлось бы что там делать. Впрочем, в крайнем случае, можно удовольствоваться и 20 000. Необходимо только, чтобы эти деньги были выданы наличными и немедленно. У Власа Терентьевича есть купеческая привычка задерживать платежи... Что касается Дарьи Ильинишны, то она, разумеется, будет полной хозяйкой и ни в чем не будет терпеть недостатка. Он, Аркадий, ручается в этом честным словом...

Говоря так, Аркадий верил, что нашел верный тон для объяснения с Кузьмой. «С купцом надо и говорить по-купчески», – быстро сообразил, он. Но Кузьма слушал откровенные заявления Аркадия с чувством настоящего омерзения. Кузьме казалось, что за те полчаса, что он пробыл в этой комнате, он сразу возмужал, из наивного мальчика превратился в зрелого человека, знающего жизнь. Словно какое-то откровение сошло на него. И вся школа плутней и обманов, которую с детства проходил он в лавке отца, не научила его тому презрению к людям, как этот торг Аркадия.

Вдруг опять встав, Кузьма объявил:

– Будь покоен, Аркадий! Тебе-то папенька копейки не даст. Коли ты на это рассчитывал, так распростиись с радужными мечтами. Шиш тебе папенька покажет, вот что!

Кузьмам нарочно говорил грубо и, пока Аркадий смотрел на него в полном недоумении, добавил:

– А теперь кликни Дашу. Мы сейчас домой уедем.

– Я тебя не понимаю, Кузьма, – возразил Аркадий. – Ты только что говорил другое. Притом я не могу позволить тебе увезти Дарью Ильинишну. Она отдалась под мое покровительство. Как же я позволю увезти ее туда, где ее может ждать...

– Что бы ее там ни ждало, – перебил Кузьма, – все ей лучше будет, нежели с таким...

Кузьма запнулся, но тотчас закончил: "...прохвостом, как ты!»

Аркадий побледнел от оскорбления и невольно оглянулся кругом, словно желая убедиться, что в комнате более никого нет. Оправившись, он начал было с достоинством говорить о том,

что неблагородно со стороны Кузьмы пользоваться выгодами своего положения, но тот опять перебил его:

– Кликни мне Дашу, а не то я сам пойду ее искать.

Аркадий поколебался минуту, но потом сказал себе: «В конце концов, всего лучше со всем этим дурацким делом развязаться! Черт их всех поberi! Пусть увозит! В сущности, какое мне дело, что будет дальше!»

Он повернулся было, чтобы идти за Дашей, но остановился, несколько приблизился к Кузьме и сказал, понизив голос:

– Между прочим, заверяю тебя, что между нами ничего такого не было. Parole d'honneur[3]. Я уступил Дарье Ильинишне свою спальню, а сам провел ночь на диване. Ты веришь?

Кузьма не удостоил его ответа, и Аркадий вышел.

Несколько минут Кузьма опять ходил взад и вперед по чистенькой приемной, убранной с немецкой аккуратностью, с лилиями на окошках за кисейными занавесками, с вышитыми подставочками под графином и синими вазами с сухой травой на столах. Наконец вошла Даша, заплаканная, пряча лицо. Кузьма сказал ей коротко:

– Даша, едем домой.

Даша заплакала пуще, но не возражала. Она была уже в шубке. Кузьма быстро накинул свое пальто. С Аркадием он не простился. Они вышли, и Кузьма взял извозчика.

Даша спросила только:

– Дяденька знают?

– Нет, папенька ничего не знает, – ответил Кузьма, – а уж с маменькой толковать придется: держись!

Больше они не обменялись ни словом во всю дорогу.

XI

На другой день в лавке, в тот час, когда Влас Терентьевич по обыкновению «баловался чайком», Кузьма получил письмо. Его принес мальчишка из банка, получивший строгий наказ – отдать письмо только самому Кузьме, «в собственные руки». Писал Аркадий:

«Любезный Кузьма! Обдумав наш с тобой вчерашний разговор, я пришел к выводу, что мне следует высказаться решительно, дабы не подавать повода более ни к каким недоразумениям. Я душевно уважаю Дарию Ильинишну, желаю ей всяческого благополучия и всегда готов содействовать ей, как в деле ее духовного развития, так и на всех поприщах жизни, на какие она пожелает вступить. Эту мою готовность я неоднократно и выражал в моих беседах с многоуважаемой Дарией Ильинишной, при наших с ней случайных встречах. Весьма сожалею, если некоторые мои выражения были истолкованы не в том смысле, какой я им придавал сам, и почитаю долгом честного человека заявить, что со своими услугами я отнюдь не намерен навязываться. Если мое содействие может быть полезно для многоуважаемой Дарии Ильинишны, она может располагать мною вполне по своему усмотрению. В противном случае я готов, дабы предотвратить всякую возможность

дальнейших недоразумений, немедленно устранился с дороги Дарии Ильинишны и даю свое честное слово, что ни в какой мере не явлюсь для нее помехой при браке, в который она намеревается вступить, как я о том известился. Ты достаточно знаешь, что на мое слово можно положиться твердо, а посему, любезный друг Кузьма, я рассчитываю, что ты поймешь всю чистоту моих намерений и оценишь всю прямоту моих слов, а засим остаюсь готовый к услугам – Аркадий Липецкий».

Прочтя это письмо, Кузьма не то подумал, не то процедил сквозь зубы:

– Ну нет, содействие твое, голубчик, ей полезно не будет!

Кузьма спрятал письмо в карман и в угрюмой задумчивости продолжал осматривать все, что его окружало.

Он был в лавке один. Отец – у Михалыча. Молодцы полдничали в полутемном проходе, ведшем из лавки в хозяйскую, присев на пустые ящики: пили чай или, быть может, тайком «сорокоушку». Кипы товара, как обычно, высились у задней стены, словно Кавказские горы. В окно был виден грязный двор и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Флор Никитыч опять стоял у противоположного окна и барабанил пальцами по стеклу. Ничего не переменилось кругом; мир, знакомый Кузьме с детства, продолжал свое медленное и тусклое существование. Лишь сам Кузьма сознавал себя иным, чем два дня назад.

О Аркадии Кузьме не хотелось и думать. Горечь разочарования в человеке, которым он так долго восхищался, мучила нестерпимо. «Себялюбец, пустослов, франт, ловелас, трус», – записал об нем Кузьма в своем «Журнале» и потом приписал еще: «и подлец!» Но тем более хотелось думать о Даше и о самом себе. При некоторых воспоминаниях Кузьма зажмуривал глаза, словно от телесной боли.

Орина Ниловна, несмотря на свои годы и постоянную приниженность, обошлась с Дашей, при ее водворении домой, сурово: она «отхлестала» Дашу по щекам. И Кузьма не вступился за сестру, стерпел: надо было удовлетворить маменьку, чтобы она осталась соучастницей заговора и ничего не рассказала отцу. Даша тоже стерпела побои и даже плакала не больше обычного. Она вообще была как бы не совсем живой, обмершей. Что у нее произошло с Аркадием в ту ночь, она так и не рассказала брату. Когда он участливо начал расспрашивать, Даша ответила настойчиво: «Не поминай, братик, его: я об этом человеке больше ничего слышать не хочу!» Видно, вовремя пришел Кузьма за сестрой!

«Бедная ты! Глупая ты! – думал Кузьма. – Развесила уши на рассказы этого щеголя! Поверила, что и взаправду ты ему нужна! Никому мы не нужны, какое кому до нас дело! Пусть пропадаем, тонем, вязнем в нашем болоте: туда нам и дорога. А ежели якшаются с нами, то либо затем, чтоб займы попросить, либо потому, что лицом девушка приглянулась. Все у них то же, что и у нас: только у нас – начистоту, торгуются прямо за каждую полушку, а те видимость делают, слова разные говорят, о высоких материях рассуждают. Дурак я был, что в правду всего этого верил. Нет, Кузьма! Покорилась Дашка, покорись и ты! Тяни ляжку, угодничай папеньке, обдувай покупателей, нет тебе никуда исходу. Жди, покуда сам хозяином станешь, да к той поре, пожалуй, и у самого за душой ничего, кроме алтына, не останется!»

Кузьме вспомнились его собственные сатирические стихи:

Мне бечевой лишь торговать

Да подводить в счетах итоги!

– На построение погорелого храма, во имя Илии пророка! – тоненьким голоском пропищала монашка, приоткрывая дверь.

– Бог подаст! – недовольно отозвался Кузьма, которого оторвали от его дум. Но монашка уже втиснулась в лавку и обшаривала ее глазами, ища, чем бы поживиться.

– Нам вот бечевочку надобно б, не соблаговолите ли, благодетель, по усердию к делу божиему? – пищала монашка, быстро перебирая мотки бечевы, что лежали в картонах.

Неохотно Кузьма пошел отпускать бечеву: отказывать в таких просьбах было не принято. Едва захлопнул он дверь за монашкой, опять задрезжал самодельный колокольчик, и ввалился в лавку малый из соседней мелочной:

– Шесть вязки, да поскорее. Да только, чтобы не гнилой, как позапрошлый раз. Почтение Кузьме Власичу.

Кузьма кликнул молодца отпустить вязки. Но потом появился приказчик от Борзовых получить по счетику; потом – представитель торгового дома «Петров и сын», что в Рыбинске, узнать, отправлен ли заказанный товар; затем – еще кто-то. Завертелось колесо повседневной работы, при которой каждому посетителю лавки надо было угодить, с одним посмеяться, с другим поскорбеть о застое в делах, у третьего осведомиться, как поживает супруга. Влас Терентьевич наказывал строго, чтобы покупателей «обхаживали» и «ублажали». «Не то дорого, – говорил он, – что ты мальцу, скажем, продашь на полтину, а то, что, ежели ты его улестишь, он, глядь-ан, и по втору завернет да на сотнягу прикажет». И Кузьма, по привычке, приобретенной сызмалолетства, «обхаживал» и «ублажал» приходивших, выхвалял товар и соболезнавал жалобам на «плохие дела». «Тяни, Кузьма, лямку!» – повторял он себе. Вскорости вернулся и отец, довольный какой-то удачей, расспросил об том, что без него было, заглянул в книги, похвалил сына:

– Валяй, Кузьма! Мы эту зиму, того, може, оборот-то тысяч на четыреста сделаем. Вот как! Пусть знают Русаковых! Помру я, будешь ты купец первейший в городе. Тебе, оно, будет почет ото всех, кланяться будут. «Кто идет?» – Кузьма Власич Русаков. – «А», – скажут. Токмо одно: баловства свои оставь, книжки там разные. Не к лицу это нам...

«Завел волынку», – уныло подумал Кузьма, слушая наскучившие поучения. Но тут же мысленно сравнил отца с Аркадием и сказал себе: «А все ж папенька хоть и купец, хоть и учит меня обставлять покупателей, а куда благороднее этого крикуна. У папеньки цель – нажать, он этого и не скрывает. А тот тоже на Дашино приданое облизывался, а делал вид, что Прудона проповедует».

А Даша в это время подрубляла полотенца, которые давали ей в приданое, и тоже тупо слушала проповедь, которую говорила ей сидевшая рядом Орина Ниловна. После побега Дашу держали как бы под домашним арестом, и тетенька не отпускала ее от себя ни на шаг. Усадив Дашу работать, она сама поместилась тут же со спицами, которыми вязала варежки, и монотонным голосом поучала племянницу:

– Ничего, девка, стерпится – слюбится. Мне тож не легко было за самого-от идти. Почитай, неделю ревмя ревела: знала, что крут. Да и в жисти мало я разве вынесла? Ох, девка, всего бывало! По молодости-то сам на баб падок был. Что я в те поры терпела, один господь ведает. Ну, и бивал тоже, случалось, как погорячее был. Сама знаешь, из бедных меня взял, противу отца, покойного Терентия Кузьмича, пошел (царство ему небесное), ну, и вымещал, значит, на мне, что не принесла ему ничего. А теперь, глянь-ка, душа в душу живем. Дом – полная чаша. Все у нас степенно. Сам-от не пьет, в церкву божию ходит, нам от других почет. Поживи, и тебе то ж будет. Оно, старенек Степан Флорыч-то, робята у него, да не тужи: брюзглый он, хлибкий – вдовой останешься, тут тебе вся твоя воля.

Доброжелательная воркотня лилась, как струйка воды из источника, ровно, безостановочно: Орина Ниловна говорила, не делая ударений на словах, словно бы все имели значение равное или были безразличны. Даша проворно двигала иглой, наклонив заплаканное лицо к самому полотну. Пахло лампадным маслом, воском, камфорой и соленьями. Мебель «под красное дерево», в стиле «Николая I», лоснилась. По крашеному полу были простелены чистые половики. Кругом был уют установившейся жизни, однообразной, тусклой, предопределяемой обычаями дедов, – жизни, выставляющей на вид всем огромные образницы, перед которыми денно и нощно теплятся неугасимые лампы, и кроющей в своих недрах, в задних комнатах, и привычный домашний разврат «самого со стряпухой», и столь же привычные сцены битья жены, и беспредельное одиночество женщин, для которых муж – только властный «хозяин», требующий, чтобы его «ублажали». И казалось, что прочно заложены устои этой жизни, что никакие внешние бури, никакие века не свалят их и не откроют внутрь доступа для свежего воздуха.

XII

В «Журнале» Кузьмы много дней последними строками оставалось его суждение о Аркадии и ничего не появлялось после красноречивого слова, выведенного французскими буквами: «i rodletz!» Кузьма нарушил свое правило – писать в дневнике ежедневно – и долгое время не брался за него. Наконец, уже поздним ноябрем, в «Журнале» оказались записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадке. Кузьма так и озаглавил их «Ерiлог». Вот что стояло в этом «Эпилоге»: «Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог, или заключение. А больше писать в этой тетради не буду, потому что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной. Ложь и глупость все, что я здесь писал про Аркадия, и правда только последнее слово: подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал: перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался: ни к чему его принуждать мы не собирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степаном Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был сговор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не двадцать тысяч, а тридцать, только чтобы они были положены на имя Даши, для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил, и Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам. А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как это скоро все и обнаружилось. Я к ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что вот, дескать, надо, чтоб я в ихнее общество вошел и взял пай в пятьсот рублей или два пая в одну тысячу рублей. Когда же я Фаине сказал, что эдаких денег у меня не бывает, и весьма серьезно это ей подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей-де, нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведалься. Дверь отпирала Елена Демидовна, на меня эдак косо посмотрела, буркнула: „Фаины дома нету“, – и опять дверь захлопнула, прямо под носом. Я побрел, несолоно хлебавши, восвояси, три дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалилась поведением, и что у нас, в Москве, она уже завела себе одного, именно офицера, – и все это Лаврентий выведал верно и мне все имена назвал. А я себе зарок дал: в чужое общество не ходить; сижу, как сыч, один и буду сидеть. Прав был папенька, говоря: „Не к лицу нам это“. Выскакиваем мы, думаем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть и, по неотбесанности своей, все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова – так, мякина одна, а мы, пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я

и напоролся; и Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться: тут, по крайности, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче. А все ж таки (и это будет мое последнее слово в сем „Журнале“) не должно отчаиваться, ежели один оказался – подлец, другая – потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе-злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же и эти ее пробудители, поборники добра и правды. Где вы, работники нивы народной, сеятели знания и культуры, я не знаю! Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины, но я верю, что вы где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по проторенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей и буду этой верой крепиться в том аде крошечном, в котором сам обречен погибать!» Кузьме очень хотелось закончить свои патетические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть – не мое дело! – сказал он себе, но сейчас же добавил: – Вот другое дело дети Дашины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них – такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только, что фамилия у него будет такая неподходящая: Гужский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например: Игорь, Валентин или Валерий!»

Примечания

1

Большой круг (

фр.) – фигура в общем танце.

2

Да здравствует республика!

(лат., искаж.)

3

Честное слово (

фр .)